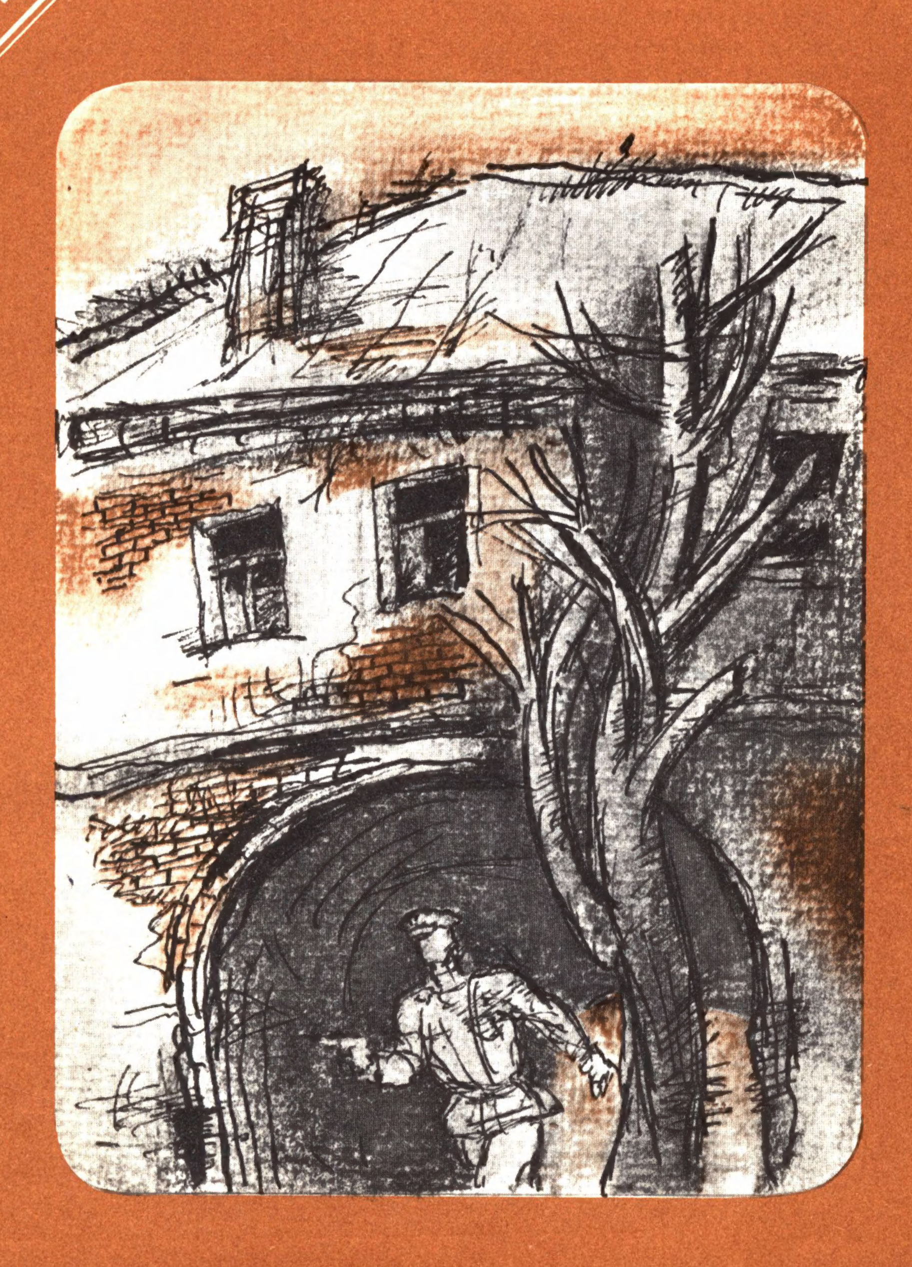
отрочество
отрочество
отрочество

А. Козачинский

ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН



ОТРОЧЕСТВО
СЕРИЯ КНИГ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

А. Козачинский

ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН

Повесть

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1989

Зима 1931 года была в Гаграх необычайно суровой.

Весь декабрь шел дождь; в январе повалил снег. Это был очень странный снег, хотя так, по-видимому, и должен был выглядеть субтропический снегопад. Огромные, величиной с черешню, снежинки, нарядные, как елочные украшения, медленно опускались в неподвижном воздухе, и это медленное, монотонное падение не прекращалось ни на минуту в течение шести недель. Листья пальм не выдерживали тяжести непривычного снежного груза и ломались. Розы, которым полагалось цвести в это время, распускали свои лепестки над снежной пеленой, как лишайники севера. Так, наверно, выглядели тропические леса Европы в начале ледникового периода.

Всю зиму по Черному морю гулял шторм. На узкую полоску гагринской земли обрушивались огромные, молчаливые волны. Они двигались медленно, длинными, правильными шеренгами, на очень большом расстоянии друг от друга, неся на своих гребнях толстых морских птиц. Споткнувшись о берег, валы опрокидывались, а птицы, исчезнув на миг, появлялись на гребне следующей волны. Ровный гул моря не умолкал много недель и уже не воспринимался как шум; прибой казался беззвучным, как снегопад.

Однако Гагры лишились не только тепла, солнечного блеска и благоухания цветущих садов, но также и электрического освещения. Гагринская гидростанция, равная по мощности мотоциклету, приводилась в действие водопадом, свергавшимся с отвесного склона Жоэкварского ущелья. Это был небольшой водопад: он мог бы весь, до последней капли, уместиться в обыкновенной водосточной трубе. Но декабрьские ливни превратили тощую струю в мощный поток, и гидростанция захлебнулась в нем; январские морозы сковали поток, и гидростанция осталась совсем без воды.

На фоне этих странных и гроз-

ных явлений особенно зловеще выглядела гибель духана «Саламандра». В старой гагринской крепости друг против друга расположились два конкурирующих артельных духана: «Феникс» и «Саламандра». Темной январской ночью, когда шторм бушевал с особенной силой, «Саламандра», к великой радости «Феникса», сгорела. Духан сгорел со всеми своими скорпионами, жившими в трещинах крепостной стены. Они были гордостью духана; каждый посетитель, осветив щели спичкой, мог любоваться скорпионами, которые настолько привыкли к аромату шашлыков, запаху красного вина и веселью гостей, что превратились в совершенно безобидных насекомых, вроде сверчков или шелковичных червей. Мрак и пламя скрыли от глаз картину гибели скорпионов, но говорят, что все они, согласно обычаю, покончили самоубийством, ужалив себя в голову и проклиная обманчивое название духана, которому доверились. В Гаграх и сейчас охотно рассказывают об этом событии.

Но гибель «Саламандры» не была последним звеном в цепи несчастий. Большая гора обрушилась на автомобильную дорогу к северу от Гагр, а дорога на юг, размытая дождями, сползла в море. И ни один пароход из-за шторма не останавливался на открытом гагринском рейде. Городок, засыпанный снегом, скованный стужей и погруженный в темноту, оказался отрезанным от всего мира. Множество людей, собиравшихся провести в Гаграх месяц отдыха, остались здесь на невольную зимовку. Они бродили по засыпанному снегом гагринскому парку в тюбетейках и макинтошах подобно доисторическим людям, которые зябли в своих демисезонных шкурах среди надвинувшихся отовсюду ледников.

Если бы не морозы, штормы и обвалы, литературный клуб в бывшем замке принца Ольденбургского, вероятно, никогда бы не возник. Всем бывавшим в Гаграх знаком вид этого здания, эффектно прилепившегося к почти отвесному склону горы, построенного из камня, но в том прихотливом и затейливом стиле, который характерен для архитектуры деревянной. Бывшее жилье принца не поражало внутри ни роскошью, ни комфортом; в наши дни никому не пришло бы в голову назвать подобное здание «дворцом». Впрочем, во всех комнатах принц поставил нарядные камины, украшенные разноцветными изразцами. У одного из этих каминов и собирались члены литературного клуба, обязанного своим зарождением разбушевавшимся стихиям и прежде всего стихии скуки.

От скуки страдали все жители санатория, кроме, разумеется, шахматистов. Садясь за доски с утра, они наносили друг другу последние удары уже в полной темноте. Придя после многочасовых усилий к ладейному эндшпилю, не замечая темноты, а может быть, и пользуясь ею, они ощупью старались загнать друг друга в матовую сеть. Не унывали и фотолюбители, с редким упорством снимавшие в течение всего срока пленения один и тот же цветущий розовый куст, полузасыпанный снегом. Тем же, кто был свободен от этих увлечений, было плохо. Все надоело, хотелось домой. Казенные пижамы скрипучего желто-зеленого цвета, «мертвый» час, вдохи и выдохи на утренней зарядке, добрые няни, снующие по коридорам с грелками и клизмами, кровати с сетками, чувствительными, как сейсмограф, и шумными, как камнедробилки, надпись на дверях поликлиники, извещающая о том, что «рентгеновские лучи работают по четным и нечетным числам», — все то, что вначале радовало, казалось приятным, удобным, забавным, сейчас оставляло сердца холодными, раздражало, выводило из себя. Дошло до того, что никто уже не хотел взвешиваться на зыбких медицинских весах в докторском кабинете.

Кое-кто из больных уже поговаривал о том, чтобы «тюкнуть» по маленькой. А нескольких диетиков главврач застиг внизу, в крепости, в духане «Феникс», где диетики пожирали чебуреки, запивая их «Букетом Абхазии».

Вот в какой обстановке зародился литературный клуб у зеленого камина в палате номер семь. Сначала здесь занимались только игрой в отгадывание знаменитостей и разложением слов. Потом стали рассказывать разные истории, преимущественно страшные. Однажды кто-то предложил не рассказывать их, а записывать.

Ничего нет легче, чем убедить человека заняться сочинительством. Как некогда в каждом кроманьонце жил художник, так и в каждом современном человеке дремлет писатель. Когда человек начинает скучать, достаточно легкого толчка, чтобы писатель вырвался наружу.

Чтения происходили по вечерам. В зеленом камине сердито шипели и плевались сырые поленья. Красноватый свет керосиновой лампы освещал пространство перед камином, оставляя углы палаты темными. Члены клуба занимали свои постоянные места. Слева садился почтенный хлебопек Пфайфер, обратив к огню свое доброе лицо старухи. Рядом с ним устраивался военный интендант Сдобнов, всегда докрасна выбритый, в пижаме и сапогах. Еще дальше располагалась на кургузом диванчике женщина-врач Нечестивцева. Председатель клуба Патрикеев устраивался на двух чурбанчиках, поставленных на торцы. Как литератор, он был освобожден от писания рассказов, но зато ему было поручено топить камин и следить за угольками, падающими на паркет. В углу на кровати сидел закадычный друг Патрикеева — доктор Бойченко, человек тихий, серьезный, ленинградского воспитания. Рядом с ним, на другой койке, лежал, просунув вишневые ботинки меж прутьев кровати, юрисконсульт Котик, жгучий брюнет с коричневыми белками и волнистыми усами Мопассана.

Девиз клуба, сочиненный Патрикеевым, гласил: «В каждой жизни есть по крайней мере один интересный сюжет». Поэтому авторам разрешалось брать сюжеты только из собственной жизни. А так как жизни у всех были совершенно непохожие, то все написанное оказывалось неожиданным и интересным. Все предполагали, что старичок Пфайфер, знаменитый специалист-хлебопек, напишет о пекарнях. Но он написал рассказ «Как я заболел мокрым плевритом».

Надо сказать, что членам клуба льстило знакомство с известным писателем. Оно возвышало их над обитателями других палат, рядовыми шахматистами, фотолюбителями и разлагателями слов. Сколь ни мелок этот мотив, мы не можем умолчать о нем. Возможно, что старик Пфайфер был более знаменит среди хлебопеков, чем Патрикеев среди писателей, но о Патрикееве знали очень многие, а о Пфайфере знали только хлебопеки. Иначе и быть не могло, ибо Пфайфер не ставил своего имени на хлебах, как Патрикеев на романах, хотя последние, быть может, и не были лучше выпечены, чем изделия доброго хлебопека.

Патрикеев и его скромный друг-доктор были неразлучны: если один отправлялся любоваться прибоем или смотреть на розовый куст, засыпанный снегом, за ним сейчас же отправлялся и другой. Истоки их дружбы никому не были известны; чувство ревности подсказывало членам клуба единственное объяснение: великие люди нередко обременены всякими друзьями детства, бывшими соучениками, соседями по парте, ныне провинциальными бухгалтерами и лекпомами, не замечающими той пропасти, которая образовалась между ними и их знаменитыми сверстниками.

Было известно, что живут они в разных городах: Бойченко — в Ле-

нинграде, Патрикеев — в Москве, но отпуск всегда проводят вместе. Это свидетельствовало о том, что дружба их отличалась пылкостью, свойственной юности, но редко наблюдаемой среди людей, которым перевалило за тридцать. Ни Патрикеев, ни Бойченко не были, однако, коренными жителями северных столиц. В их речи звучал тот неистребимый южный акцент, который позволяет безошибочно узнавать бывшего одессита в толпе ленинградцев и москвичей.

Дела клуба шли прекрасно, но однажды его ревностные члены были возмущены доктором Бойченко, который заявил, что ему не о чем писать. Особенно кипятились старичок Пфайфер и Нечестивцева, с большим успехом прочитавшая накануне новеллу, насыщенную интимной лирикой. Никакие уговоры не подействовали бы на застенчивого и упрямого доктора, если бы не вмешался его друг Патрикеев.

— Не верьте ему,— объявил председатель клуба,— у него больше сюжетов, чем у любого из нас. Володя,— обратился Патрикеев к приятелю,— почему бы тебе не написать о зеленом фургоне?

Через несколько дней Владимир Степанович Бойченко занял место по правую сторону камина и приступил к чтению своего рассказа.

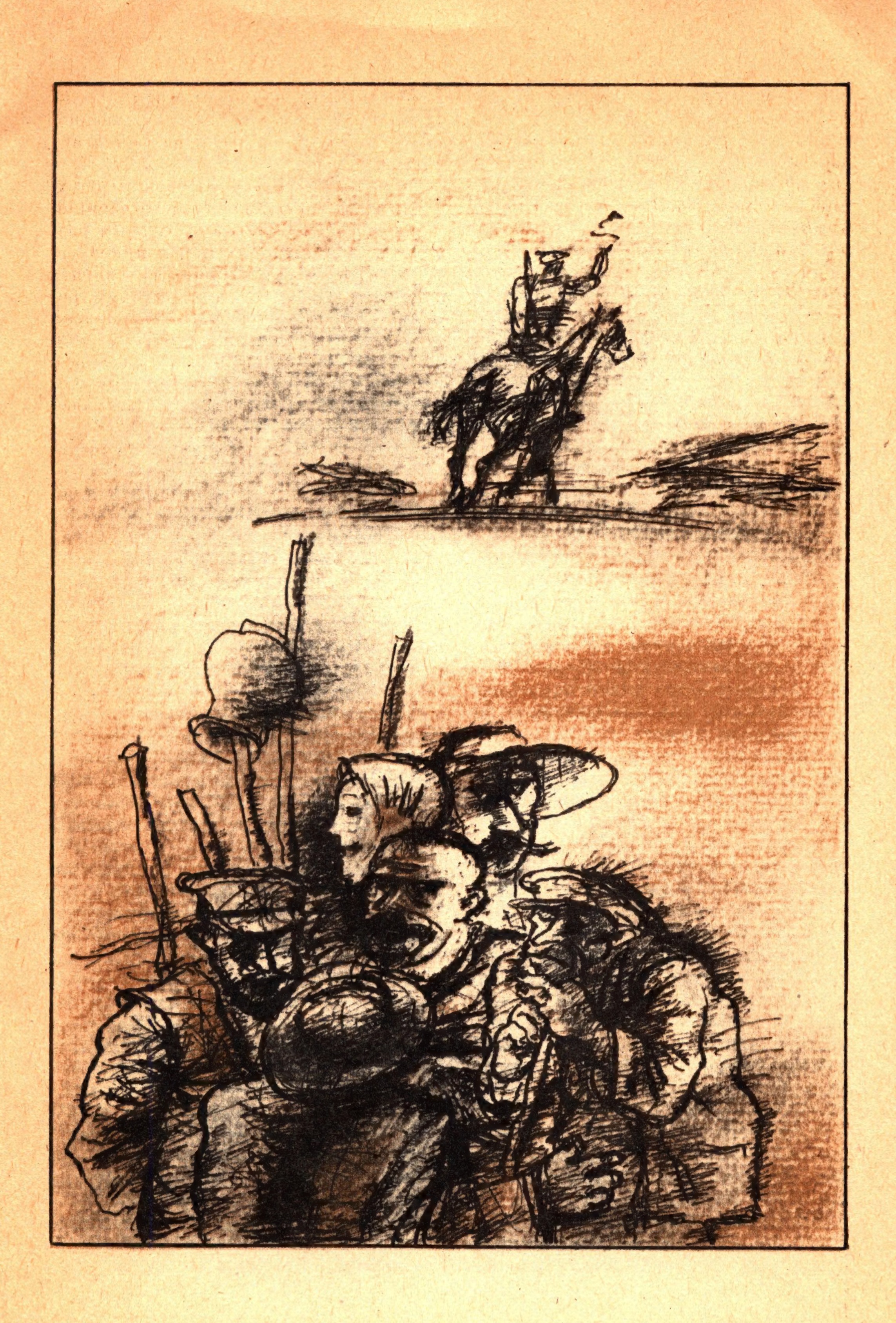
I

Летом 1920 года население местечка Севериновки, Одесского уезда, с нетерпением ожидало нового начальника районного уголовного розыска. Севериновка в те годы была пыльным торговым местечком, с домами из желтого известняка и глины, с базарной площадью и рядами крытых рундуков на ней, с разрушенной экономией графа Потоцкого, церковью, киркой и синагогой. Процент самогонщиков и спекулянтов среди жителей местечка в те времена был настолько велик, что уголовный розыск являлся наиболее посещаемым и влиятельным учреждением в Севериновке. Естественно, что личность нового начальника интересовала всех.

К тому же откуда-то пошел слух, что уезд, обеспокоенный отчаянной репутацией местечка и бытовым разложением прежних начальников угрозыска, которых пришлось убирать из Севериновки одного за другим, решил наконец поставить на колени непокорных севериновцев и с этой целью посылает к ним из соседнего района работника особо подготовленного, человека твердого и даже беспощадного.

Еще никому из прежних начальников не удавалось надолго задержаться в Севериновке, а последний вынужден был исчезнуть, не успев даже справить себе желтых сапог на высоком каблуке и белой козловой подклейке, с носком «бульдог», подколенными ремешками и маленьким раструбом вверху голенища. Ни в Яновке, ни в Петроверовке, ни в Кодыме, ни в самой Балте таких сапог шить не умели. Севериновцами было замечено, что этот фасон притягивает к себе начальников с такой же непреодолимой силой, с какой сказочного короля притягивала рубашка счастливого человека. И севериновцы умело использовали магическую силу желтых сапог. Как только в уезде узнавали, что очередной начальник не смог противостоять гибельной страсти и принял в дар желтые сапоги, его вызывали в Одессу, выгоняли из розыска и отдавали под суд за взяточничество.

Новый начальник приехал в жаркий июльский день, когда Севериновка казалась почти безлюдной. Горячий ветер перекатывал по базарной площади вороха упавшей с возов соломы, улицы курились пылью, все было накалено и высушено до такой степени, что никого не удивило бы, если бы местечко, шипя и дымясь, начало тлеть. И если этого не случилось, то только благодаря тому, что раскаленное местечко охлаждала зыбкая топь,



никогда не просыхавшая в центре площади, вокруг водопоя.

Новый начальник слез с брички и, побрякивая амуницией, поднялся по ступенькам в помещение уголовного розыска, где его встретила делопроизводитель Анна Семеновна Мурашко, дама лет тридцати пяти, одетая в розовое, фисташковое и кремовое, похожая издали на сладкое блюдо.

Анна Семеновна предъявила новому начальнику — она делала это уже не раз — книгу ордеров на арест и обыск, а также круглую печать и доложила, что в распоряжении районного розыска находятся серая кобыла Коханочка с кавалерийским седлом и ременной плеткой и младший милиционер Грищенко, ныне отсутствующий.

Начальник вернул Анне Семеновне книги и ордера, себе же взял круглую печать и ременную плетку с рукояткой из заячьей лапы. Затем он вывел из стойла кобылу Коханочку, собственноручно возложил на нее кавалерийское седло и умчался в неизвестном направлении, даже не умывшись с дороги.

Внешность нового начальника, насколько ее можно было рассмотреть под густым слоем степной пыли, подтверждала худшие опасения севериновцев. Ему было всего лет восемнадцать, но в те времена людей можно было удивить чем угодно, только не молодостью. Он был угрюм, неразговорчив и мрачен. Принимая дела у Анны Семеновны, он не произнес и десяти слов. Сложная система ремней, цепочек и пряжек поддерживала на его талии крупнокалиберный кольт, висевший обнаженным, и две бомбы-лимонки, которые, ударяясь при ходьбе друг о друга, издавали звук, похожий на чоканье. На плече висел новенький японский карабин. Севериновцы решили, что этому человеку незнакомы ни страх, ни жалость.

В первые дни новый начальник ни с кем не знакомился и почти не слезал с Коханочки. Анна Семеновна, у которой накапливались неподписанные бумажки, выходила на крылечко и старалась перехватить начальника, когда он проносился через базарную площадь. Если ей это удавалось, начальник подъезжал к крылечку, не слезая с коня прикладывал круглую печать к намазанной чернилами подушечке, которую подставляла ему Анна Семеновна, оттискивал печать на бумажке, подписывался и снова скрывался в клубах пыли.

Таинственные разъезды начальника еще более укрепляли севериновцев в их опасениях.

— Зверь! — говорили о нем.

Но со временем новый начальник стал меньше разъезжать и занялся распутыванием кое-каких уголовных дел.

Помимо кольта и бомб-лимонок, предназначавшихся для обороны и нападения, он привез с собой увеличительное стекло для разглядывания следов, оставляемых преступником на месте преступления, и карманное зеркальце, с помощью которого можно было, не оглядываясь, установить, не идет ли кто-нибудь сзади. К сожалению, перед отъездом из Одессы он не сумел раздобыть очков с дымчатыми стеклами, париков и грима, которые могли бы оказаться очень полезными в Севериновке.

Он был несколько разочарован, убедившись, что деревенские преступники не оставляют после себя тех улик и вещественных доказательств, которые, по всем правилам, должны были бы оставлять на месте преступления: волосков, прилипших к орудиям убийства, оттисков пальцев, окурков, папиросного пепла и отпечатков подметок, которые позволяли бы судить о размерах обуви, походке, характере, имущественном положении и даже внешности правонарушителя. Преступники в Севериновке не оставляли после себя никаких следов. Как бы внимательно ни вглядывался он в свою лупу, он видел всегда одно и то же: мусор и какие-то щепочки.

Исключение представляли следы прикомандированного к розыску младшего милиционера Грищенко. Грищенко обладал прекрасными английскими ботинками военного образца с круглыми шипами на подметке и каблуке. Такими ботинками три-четыре месяца назад торговали в Одессе белые и интервенты. Ботинки оставляли на дорожной пыли и грязи красивые отпечатки, позволявшие судить о передвижениях Грищенко по базарной площади. Отпечатки петляли по всей площади, пересекали ее во всех направлениях, но особенно густо было испещрено ими пространство вокруг рундуков, торговавших снедью. Учась понимать трудный язык следов, новый начальник часто бродил, опустив голову, по площади, вглядываясь в следы Грищенко и стараясь разгадать причины, которые побуждали младшего милиционера столь усердно колесить вокруг рундуков.

Грищенко очень понравился новому начальнику. Если бы природа захотела создать идеального младшего милиционера, она не смогла бы сделать его лучше. Грищенко обладал необыкновенными способностями в своем деле. Вскоре после приезда в Севериновку новый начальник поехал с ним в соседнее село, изобиловавшее самогонными заводами. Была лунная ночь, спящее село лежало у их ног. Разглядывая с пригорка панораму села, начальник испытывал серьезное затруднение. Он не знал, как отличить хаты, внутри которых работают самогонные аппараты, от хат, где этих аппаратов нет. К его удивлению, Грищенко, втянув ноздрями воздух, уверенно направил бричку в один из дворов, где они и обнаружили самогонный аппарат. Покончив с этим делом, они выехали на улицу, и Грищенко, снова понюхав воздух, обнаружил второй аппарат. Замечательное обоняние было у Грищенко! Он безошибочно улавливал запах дыма, вьющегося из труб тех хат, где гнали самогон, никогда не смешивая его с дымом, который клубился над хатами, где пекли, например, хлебы. Он так тонко различал самогонный запах, что, нюхнув печного дыма, мог уверенно сказать, какой самогон гонят в хате: кукурузный, сахарный, сливовый или пшеничный. К сожалению, необыкновенное обоняние Грищенко из-за каких-то атмосферных помех отказывалось действовать в Севериновке, чем только и можно было объяснить, что севериновские самогонщики до сих пор спасались от гибели.

Не менее замечательным было у Грищенко и осязание. На его правой руке сохранились только два пальца — указательный и мизинец, остальные были обрублены при неизвестных обстоятельствах. Всякий другой не смог бы показать и фигу столь изуродованной рукой, похожей на рогач, которым вытягивают из печки горшки. Грищенко же своей двупалой рукой творил чудеса. Погрузив ее в спекулянтский воз, он никогда не вытаскивал ее пустой. Его коричневые цепкие пальцы обязательно выуживали оттуда то квадратные куски подошвенной кожи, то верхний товар — головки, халявки или заготовки, то пачки с табаком, то осьмушки чая, то коробочки с сахарином, то еще что-нибудь из дефицитных предметов, запрещенных в те времена к вывозу из города. Слух о подвигах Грищенко пошел так далеко, что спекулянты стали объезжать Севериновку стороной. Что касается других младших милиционеров, хотя и пятипалых, не менее способных, то они считали сверхъестественную чувствительность грищенковских пальцев результатом его уродства: при ранении якобы были задеты какие-то нервы и сухожилия его правой руки и это сообщило им почти электрические свойства.

Со своей стороны, Грищенко должен был признать превосходство нового начальника, как человека со средним образованием, в тех случаях, когда надо было составлять про-

токолы и акты осмотра найденных у дорог трупов.

В то неспокойное время трупы у дорог находили часто.

Новый начальник прекрасно составлял эти акты. Вначале он указывал положение трупа относительно стран света. Затем следовало описание позы, в которой смерть застигла жертву, и ран, которые ей были нанесены. Наконец перечислялись улики и вещественные доказательства, найденные на месте преступления.

Обычно достоверно было известно только положение трупа относительно стран света: лежит он, например, головой к юго-востоку, а ногами к северо-западу или как-нибудь иначе. Но талант нового начальника проявлял себя с наибольшей силой именно там, где ничего не было известно. Несмотря на однообразие обстоятельств и мотивов преступления — все это были крестьяне, убитые на дороге из-за пуда муки, кожуха и пары тощих коней,— догадки и предположения, вводимые им в акты, отличались бесконечным разнообразием. В одном и том же акте иногда содержалось несколько версий относительно виновников и мотивов убийства, и каждая из этих версий была разработана настолько блестяще, что следствие заходило в тупик, так как ни одной из них нельзя было отдать предпочтения. В глазах начальства эти акты создали ему репутацию агента необыкновенной проницательности. В уезде от него ожидали многого.

Успехи нового начальника были тем более поразительны, что до приезда в деревню он никогда не видел покойников. В семье его считали юношей чрезмерно впечатлительным и поэтому всегда старались отстранить от похорон. Но что были корректные, расфранченные городские покойники по сравнению с этими степными трупами!

Грищенко был первым человеком в Севериновке, который разгадал характер нового человека. От зоркого глаза Грищенко не укрылось, что каждый раз, когда молодому начальнику приходится вступать в объяснения с Анной Семеновной, на загорелом лице его проступает легкая краска. Вскоре после этого Грищенко установил, что таинственные разъезды начальника на кобыле Коханочке не имеют никакого другого повода, кроме болезненной застенчивости, заставляющей его искать уединения, мучительно стесняться и избегать людей малознакомых; Грищенко понял, что под грозной внешностью начальника скрывается натура робкая, доверчивая и деликатная.

Недели через две все в Севериновке — и Грищенко, и Анна Семеновна, и виднейшие самогонщики местечка, любившие посудачить в свободные часы на крылечке уголовного розыска,— называли нового начальника по имени, Володей. Севериновцы поняли, что на этот раз дело обойдется даже без желтых сапог, которые они уже собирались справлять ему всем местечком. Самогонные заводы, остановленные было на текущий ремонт до выяснения характера нового начальника, задымили так, как они никогда еще не дымили.

2

Однажды Володя возвращался с Поташенкова хутора, куда его вызывали по пустяковому делу о краже кур и гусей. Осмотр курятника не дал ничего существенного. Картина деревенского преступления, как всегда, оказалась скудной и невыразительной. В ней не было ни одной детали, которая могла бы дать пищу воображению. Опустошенный сарайчик со следами недавнего пребывания в нем кур и гусей, сломанная дверка да несколько перьев, выпавших из петушиного хвоста в тот момент, когда злоумышленники извлекали птицу из курятника,— вот и все, что увидел Володя на месте преступления. Он составил протокол, приобщил перья к веществен-

ным доказательствам и покинул хутор.

В этот день в Севериновке был базар, и Грищенко усердно подгонял лошадей. Грищенко очень любил базары. Лошади бежали проворной рысцой. Это была особая порода лошадей: мелкие, узкогрудые, животастые коники гнедой масти, они ничем не отличались бы от других лошадей, если бы не сургучные печати, привешенные к их жидким хвостам. Гнедые коники являлись вещественными доказательствами и в качестве таковых несли на себе номер дела и печати, подтверждающие их особое юридическое состояние.

Вещественные доказательства лишены свойства обыкновенных вещей. Их нельзя ни продавать, ни покупать, ни дарить, ни тем паче отчуждать в свою пользу. Однако в первые месяцы существования Севериновского уголовного розыска вещественные доказательства как бы меняли свою юридическую природу. Происходило это благодаря единственному свойству, которое еще связывало эти предметы с круговоротом жизни: вещественные доказательства разрешалось выдавать во временное пользование. Это был патриархальный обычай, свято соблюдавшийся всеми предшественниками Володи. Такой порядок казался совершенно естественным. Грищенко, например, даже был искренне убежден, что вся деятельность севериновской милиции должна сводиться к добыванию вещественных доказательств, что они — конечная цель всей работы уголовного розыска и милиции. К тому же он считал, что все в жизни временно и все, чем мы располагаем в этом мире, по существу находится у нас во временном пользовании. Володя был очень смущен, когда восемь младших милиционеров во главе с Грищенко подали ему заявление: «Просим выдать во временное пользование по одному фунту постного масла из камеры вещественных доказательств».

Но еще больше был смущен сам Грищенко, когда узнал о реформе, намеченной Володей в отношении конфискованного самогона. Узнав от Володи о предстоящем уничтожении самогона, он неправильно истолковал намерения нового начальника и поэтому спросил, плотоядно хихикая:

— А закуска, товарищ начальник, е?..

Но ему пришлось увидеть небывалое: ароматная желтоватая струя лилась на землю; обертываясь в пыль, она растекалась длинными языками, орошая облюбованное милиционерами местечко в глубине двора, за сарайчиком, точно это не высокосортный первач, а бог знает что. И Грищенко, едва сдерживая стоны, должен был расписаться на «акте уничтожения». Затем наступила очередь самогонных баков и змеевиков, из которых многие поражали своим техническим совершенством. Это было воспринято в местечке как гибель культуры. Весть о необычайном событии разнеслась по району; вся округа погрузилась в горестное недоумение. Самогонщики были вне себя. Это ставило на голову всю их политику.

Обрадовался только местный доктор. Он сейчас же пришел к Володе и стал просить, чтобы конфискованный самогон передали в больницу, где давно уже не было спирта. С этого дня весь самогон шел в больницу.

Влекомая вещественными доказательствами бричка уже въезжала в местечко, когда со стороны базарной площади послышалась стрельба. Через минуту мимо Володи и Грищенко промчался новый открытый зеленый фургон. Молодой парень стоял на нем во весь рост, широко расставив ноги в залатанных штанах. Балансируя на ухабах, он нахлестывал разъяренных вороных жеребцов. Едва Володя успел позавидовать этому умению жителя степи — сам он не смог бы устоять и на подводе, едущей шагом, — как зеленый фургон скрылся в клубах пыли. Грищенко

задумчиво посмотрел ему вслед и, не ожидая распоряжений, погнал гнедых к базару.

Через минуту бричка выехала на площадь.

Базар был завален арбузами всех сортов — херсонскими, монастырскими, днепровскими, венками репчатого лука, синими баклажанами, нежно-розовыми глиняными глечиками, в которых вода остается прохладной в самый жаркий день, новыми просяными вениками и другими малопитательными и недефицитными предметами. Это был, так сказать, видимый базар. Внутри этого видимого базара существовал другой базар, невидимый, который и являлся главным. На невидимом базаре торговали салом, сахаром, кожей. Это был нервный базар, с торговлей из-под полы, вспышками паники, конфискациями и неожиданной стрельбой, — базар тысяча девятьсот двадцатого года.

У въезда в постоялый двор гудела большая толпа. Из толпы навстречу бричке выскочил волостной милиционер Кондрат Жменя, запихивая на ходу новую обойму в свою трехлинейную винтовку.

Кондрат Жменя оглашал воздух бранью. Она сотрясала все его существо, мешая бежать, стрелять и говорить. Тем не менее, хотя и с помощью одних только ругательств, Жменя быстро и точно описал Володе происшедшее.

Только что на глазах у всего народа, под носом у него, волостного милиционера Кондрата Жмени, в двух шагах от районной милиции и уголовного розыска, известный всему району дерзкий вор Красавчик угнал фургон и пару лошадей.

Володе не надо было объяснять, кто такой Красавчик. О поимке Красавчика он мечтал со дня своего приезда в Севериновку. Едва услышав это имя, Володя выскочил из брички.

— Где стоял фургон? — спросил он взволнованно.

Он бросился к месту, указанному Жменей, упал на колени и стал разглядывать дорожную пыль сквозь увеличительное стекло. Толпа затихла и с уважением следила за его действиями. Вокруг стояли немцы-колонисты в черных чиновничьих фуражках и двубортных твинчиках, из-под которых виднелись бархатные фиолетовые нагрудники; молдаване в длинных рубашках, расшитых красным и зеленым; украинские дивчины, замотанные белыми платочками по самые глаза; чинные местечковые самогонщики, одетые по-городскому. Володя видел только их сапоги, попадавшие иногда в фокус его двояковыпуклой линзы. Грищенко куда-то исчез. Володя ползал уже минуты две, но успел разглядеть только несколько непереваренных конскими желудками овсинок. От этого занятия его отвлек протиснувшийся сквозь толпу Грищенко.

— Що вы тут шукаете, товарищ начальник? Це ж одно смиття! — сказал он по-украински. Со всеми Грищенко разговаривал по-русски, а с Володей почему-то только по-украински. — Чи, може, вы шукаете тут вещественные доказательства? — добавил он.

В его словах звучал льстивый оптимизм, с помощью которого он старался отвлечь внимание начальника от зажатого под мышкой круглого румяного кныша; происхождение кныша не оставляло сомнений, а быстрота, с которой он появился, была почти сверхъестественной.

Но Володя как зачарованный продолжал разглядывать землю, на которой запечатлелся невидимый след преступления.

— Прямо счастье, что толпа не затоптала следы, — сказал он. — Они нам расскажут, куда скрылся Красавчик.

— Красавчик? — удивился Грищенко. — Да мы ж его бачили! До Одессы подался Красавчик.

— То есть как — бачили? Почему до Одессы? — уставился на него Володя.



— Зеленый фургон у криницы мы бачили? Бачили. Хлопця на том фургоне мы бачили? Бачили. Так то ж Красавчик и був.

От изумления Володя чуть было не выронил увеличительное стекло.

— В погоню! — крикнул он и бросился к бричке.

— В какую погоню? — холодно спросил Грищенко, не трогаясь с места.— А коней напувать?

— Да ты же их напувал на хуторе! — удивился Володя.

Гнедые стояли понурившись. Их обвислые, старческие губы едва не касались широких, плоских копыт, рыжеватая шерсть была как бы побита молью, вместо хвостов торчали черные резиновые репки, почти лишенные волос. Понятие погони было чуждо их опыту и их физической организации. Гнедые занимали такое же место среди лошадей, как маневровый паровоз серии «фита» среди курьерских паровозов.

— Грищенко,— сказал Володя, сильно покраснев,— я приказываю тебе немедленно отправиться со мной в погоню.

Грищенко понял, что погоня неизбежна. Он засунул кныш в козлы, под сиденье, где хранились уздечки, цепной тормоз для спуска с крутого косогора и запасной шкворень, влез на сиденье и, глухо чертыхаясь, вытянул гнедых по бокам кнутовищем.

Через минуту бричка выкатилась на шлях, по которому они только что въезжали в местечко.

3

Грищенко безжалостно хлестал гнедых. Кнутовище с глухим стуком ударяло по их бугристым хребтам. Кони скакали тем вялым галопом, глядя на который встречные лошади не могут прийти в себя от изумления. Столь медленный галоп, несомненно, находился на грани невозможного. Высоко вскидывая то головы, то крестцы, гнедые колыхались над дорогой, и со стороны никак нельзя было понять, мчатся они во весь карьер или плетутся шагом. Их тянуло назад, к камере вещественных доказательств, к овсу.

— Но-о, милицейская худоба! — кричал Грищенко, хлопая гнедых кнутовищем по угловатым крупам, по частоколу ребер и даже по черепам, издававшим кувшинный звон.

Но ему не удавалось выколотить из лошадей ничего, кроме пыли. Равнодушно отмахиваясь сургучными печатями, гнедые продолжали симулировать галоп. Грищенко стоял на передке в позе Красавчика; балансируя на ухабах, он широко замахивался на гнедых, гикал, свистел. Всем своим видом он изображал лихую погоню. Была ли в этом шуме и свисте какая-то фальшивая нота, понятная лошадям, или, быть может, между энергичным причмокиванием, подергиванием вожжей и взмахами кнута существовал какой-то разнобой, приводивший к тому, что каждое из этих действий как бы отменяло предыдущее, но скорости не прибавлялось.

Грищенко тянуло назад, в местечко, к туго набитым мужицким возам, к маленьким базарным радостям и удачам, от которых его так бессмысленно оторвали.

Когда бричка взобралась на бугор, Грищенко обернулся к Володе и показал вперед кнутовищем. По противоположному склону балки двигался зеленый фургон. Возница его нахлестывал лошадей. Володе страшно захотелось соскочить с брички, сбросить с плеча японский карабин, упасть на колено и пустить меткую пулю вдогонку беглецу. Но он постеснялся Грищенко: как-никак, до фургона было километра два, и этот выстрел мог показаться Грищенко недостаточно солидным. Пока Володя боролся с сомнениями, зеленый фургон перевалил через бугор и исчез из глаз. Падать на колено было поздно.

Когда они взобрались на второй бугор, впереди уже никого не было видно.

Володя начал опрашивать встречных.

— Будьте любезны, скажите, пожалуйста,— вежливо обращался он к проезжему дядьку́,— вы зеленый фургон и вороных жеребчиков по дороге бачили?

— Бачили, бачили,— отвечал дядько́,— вон за тим горбочком.

Дядько́ долго стоял на месте и смотрел вслед бричке. А погоня скакала дальше, пока не встречала другого дядька́, и тот тоже после разговора с Володей застывал на месте и глядел ему вслед.

Уже много дядьков стояли как зачарованные на пыльном шляху, а Володя все продолжал расспросы.

— Простите, не побачили ли вы зеленый фургон с вороными жеребчиками? — спрашивал он, и все отвечали ему, что бачили.

Грищенко мрачно молчал, не желая облегчать переговоры с дядька́ми.

Чем ниже опускалось солнце, тем меньше дядьков попадалось им навстречу. Когда же бричка взобралась и на третий горбочек, Володя и Грищенко уже ничего не увидели впереди, так как стало темно.

Из темноты навстречу бричке выехал длинный обоз.

В те времена люди по шляхам ночью не ездили. Селяне, купцы, извозчики-балагулы старались попасть на постоялый двор засветло. Если же сумерки настигали проезжего в пути, он останавливался и ждал попутчиков. Подъезжала одна подвода, потом другая, третья. И когда их собиралось много, они двигались шумным обозом. Так во время войны ходили по морям караванами торговые суда союзных держав, спасаясь от подводных лодок.

Лиц дядьков не было видно, только цигарки вспыхивали в темноте и сквозь скрип колес были слышны слова — то украинские, то болгарские, то немецкие. Володя опрашивал невидимых дядьков. Они тоже встречали одинокий фургон, но не могли сказать, был ли он зеленым.

Еще полчаса ехали Володя и Грищенко, никого не встречая. Проехав Ильинку, Грищенко остановил бричку, чтобы посвистать гнедым.

— Чуете? — спросил он, прислушиваясь к чему-то.

— Чую,— ответил Володя, думая, что вопрос относится к поведению лошадей.

Но Грищенко продолжал вслушиваться в степную тишину. Где-то звенели втулки фургона. Звук то усиливался, то замирал, окраска его менялась: то он был похож на шум струи, льющейся из крана, то на комариное пение.

— Красавчик...— сказал Грищенко, ткнув в темноту кнутовищем.

Не раз удивлял он Володю своим необыкновенным слухом. По звону втулок он за три версты мог определить, едет ли фургон, или рессорный молочник, или арба, или бричка, или мажара. А в своей деревне, слыша далекий звон втулок, он мог даже сказать, чей фургон едет, чья арба, чей молочник.

Ильинка и Куяльницкий лиман, блеснувший где-то внизу, остались слева. Бричка спускалась в балку, к тому месту, где в нескольких саженях от дороги стоял остов сожженного грузовика. На всем шляху — от Одессы до самой Балты — не было места хуже. Придорожная верба у Ангелова хутора, гребля за Яновкой, погорелая Петроверовская экономия, могила у Ширяева и еще одна могила, поближе к Одессе,— все эти опаснейшие места степного фарватера, известные всякому, кто ездил тогда по Балтскому шляху, не могли сравниться с этим зловещим грузовиком в балочке за Ильинкой.

Кругом зияли выходы из каменоломен. Неподалеку вытянулись нехорошие села Кубанка и Малый Буялык.

Грищенко остановил бричку и, громыхнув затвором, вогнал в ствол патрон. Володя торопливо сделал то же.

— Но, милицейская худоба! —

сказал Грищенко негромко, и они двинулись вперед.

Володя сжимал карабин, едва сдерживая радость. Он убеждался, что храбр. Он склонялся к этой мысли и раньше, но, желая быть честным и требовательным к себе, откладывал окончательный вывод до проверки на деле. Володя спокойно вглядывался в темноту, и, хотя очертания грузовика казались ему более уродливыми и зловещими, чем обычно, рука его, ощущавшая влажное от вечерней сырости ложе карабина, была тверда.

Он даже почувствовал некоторое разочарование, когда убедился, что бандиты, по-видимому, решили не появляться этой ночью у грузовика. Но едва он подумал об этом, как Грищенко так резко осадил коней, что Володя, державший указательный палец на курке своего карабина, едва не выстрелил ему в спину.

Грищенко соскочил с козел и показал вперед дулом своего манлихера[1]. Володя тоже соскочил и, выставив вперед свой карабин, стал рядом с Грищенко.

— Бачите? — спросил тот Володю замороженным голосом.

— Ни, — ответил Володя почему-то по-украински.

Грищенко присел на корточки. Володя присел рядом с ним и почти приник щекой к земле: так ночью в степи лучше видно — очертания предметов вырисовываются на светлом фоне неба.

— Якась зараза там на дороге качается, — прохрипел Грищенко.

Наконец и Володя увидел впереди что-то большое, черное. Черное пятно бесшумно двигалось то в сторону, то навстречу, угрожающе шевелилось. Иногда оно приподнималось над дорогой и несколько мгновений висело в воздухе, иногда застывало на месте.

Они сидели на корточках довольно долго, но черное пятно не уступало дороги. Ничто не нарушало тишины. Наконец Грищенко встал, и они начали медленно продвигаться вперед.

Вдруг слабый, едва уловимый запах долетел до них. Грищенко выпрямился и матюкнулся. Они быстро пошли вперед и чем ближе подходили к черному пятну, тем удушливее становился запах. Ночной мираж исчез. Пятно перестало качаться в воздухе и приняло определенные очертания. У обочины лежала дохлая лошадь с огромным вздувшимся животом. В тот год у дорог валялось много дохлых лошадей.

Они вернулись к бричке. Грищенко, растерев на ладони щепоть доморослого «самограя», свернул толстую цигарку. Желтое пламя зажигалки на секунду осветило ухабы и выбоины его щербатого лица.

— Чуете? — спросил он, затягиваясь.

Где-то тонкой свирелью звенели втулки.

— Хоть бы какой-нибудь отпечаток, какой-нибудь след, какая-нибудь примета! — грустно сказал Володя.

Но у следствия не осталось ничего. Все следы, все отпечатки остались на месте преступления и погибли безвозвратно.

— Приметы? — сказал Грищенко. — Приметы я вси бачив.

Он приставил палец к ноздре и звучно высморкался в степь; затем приставил палец к другой ноздре и высморкался еще раз.

— Заднее левое колесо новое, — сказал он наконец, — спицы не крашены. На задку — розочки... Жеребцы вороные, два аршина два вершка, белые лысины, хвосты стрижены... Шлеи немецкой работы, с бляшками... Ще що? Кони не кованы.

Володя оторопел. Он знал, что Грищенко обладает поразительным зрением, но то, что он сейчас услышал, превзошло все его ожидания. Сколько важных вещей сумел увидеть и запомнить этот человек,

[1] Манлихер — австрийская винтовка.

взглянув мельком на мчавшийся зеленый фургон, который пронесся мимо них и скрылся в клубах пыли раньше, чем он, Володя, успел заметить лицо преступника!

Догнать Красавчика не было никакой надежды. Грищенко сел на сиденье рядом с Володей, вынул из козел кныш и, разломив его пополам, угостил начальника.

Володя рассеянно принял угощение. В голове у него зрел план.

— Правь на Одессу,— сказал он после долгого раздумья.

Грищенко чмокнул. Усталые гнедые поплелись к Одессе.

Кныш оказался с гречневой кашей, печенкой и шкварками. Съев кныш, Володя и Грищенко задремали, зная, что гнедые сами найдут дорогу в город. Долго еще слышалось Володе далекое верещанье, но он уже не знал, верещат это втулки Красавчика или у него самого звенит в ушах. Бричка вздрагивала на ухабах, чокались друг о друга германские бомбы-лимонки, черный американский кольт, качаясь на ремешке, позвякивал о сталь японского карабина, а молодой начальник, прислонившись к плечу соседа, тихонько посапывал, словно дул в камышинку.

4

Как разгадать намерения преступника, если о них ничего не известно? Володя знал, что отвечают на этот вопрос теория и практика розыска: нужно поставить себя на место преступника.

Что сделал бы он, Володя, на месте Красавчика? Длинная цепь логических умозаключений привела Володю к выводу, что на месте Красавчика он заехал бы на ночевку в какой-нибудь постоялый двор на окраине Одессы.

Володя решил переночевать в Одессе, а рано утром тщательно осмотреть подозрительные постоялые дворы на Балковской улице. Таков был план, который он составил, жуя грищенковский кныш. Кстати, на завтра у него была назначена в Одессе встреча с агентом второго разряда Шестаковым по очень важному и совершенно секретному делу.

Если Грищенко в глазах Володи являлся олицетворением фронтовой доблести, то новый агент второго разряда Виктор Прокофьевич Шестаков, прибывший в Севериновку на неделю позже Володи, представлял собой зрелище более чем невзрачное. В Грищенко все говорило о подвиге: и короткая австрийская шинель, и тяжелый манлихер, который он носил на ремне прикладом вверх, и серьга в ухе, и знаменитая двупалая рука. Володя уважал Грищенко за зрение, за слух, за обоняние, за осязание. Он уважал его за ботинки — знаменитые английские военные ботинки на шипах, весом по два с половиной кило каждый, ботинки героя.

А Шестаков, немолодой болезненный человек, ходил по улице в деревянных сандалиях, дома же — босиком. Деревянные сандалии, называвшиеся в Одессе «стукалками», при ходьбе щелкали, как кастаньеты, и по этому шуму за километр можно было узнать о приближении детектива. Володя не раз с неудовольствием спрашивал Шестакова:

«Ну, а что вы будете делать со своими стукалками, Виктор Прокофьевич, если вам придется подкрадываться?»

И Виктор Прокофьевич смущенно отвечал:

«Тогда я их сниму и буду подкрадываться босиком».

В общем, сначала Володя недолюбливал Виктора Прокофьевича за стукалки, за седенькую проперченную эспаньолку, которая помешала бы ему загримироваться, если бы этого потребовала служба, за покатые плечи, которые делали его заведомо негодным для джиу-джитсу. Эгоизм восемнадцатилетнего здоровяка мешал Володе проникнуться сочувствием к болезням пожилого человека. Он не верил в существо-

вание катара желудка, диабета и камней в почках. Лицо Виктора Прокофьевича носило на себе следы всех болезней, свойственных его возрасту. Покрытое мешочками, припухлостями, складочками и извилинами, оно рассказывало о них, как оглавление о содержании книги. Одно веко у него часто подмигивало, и Володя думал сначала, что Виктор Прокофьевич подмигивает нарочно. Все свои болезни Виктор Прокофьевич разделял на внутренние и хирургические. Однако он не лечил ни те, ни другие. Не признавая официальной медицины, он являлся последователем универсальной системы траволечения. Он применял ее много лет и главным аргументом в ее пользу считал тяжелое состояние своего здоровья. Чем хуже ему становилось, тем больше крепла его вера в систему траволечения. «Какова должна быть ее целебная сила,— говорил он,— если даже столь серьезные болезни не в состоянии ее победить?» Разруха лишила Виктора Прокофьевича необходимых ему лекарственных трав и снадобий. Но с прекращением траволечения здоровье его не ухудшалось. Объяснение этому нужно искать в явлении, отмеченном многими наблюдательными людьми: болезни, лишенные в суровую эпоху войны и голода того внимания, забот и ухода, которыми их обычно окружают, зачахли, захирели и потеряли былую власть над человеком. Верно это или нет, но Виктор Прокофьевич, скрипя и перемогаясь, нес службу. Он не был мнительным. Наоборот, он находил злорадное удовольствие в пренебрежении к своим болезням. Он не хотел их нежить в постели. Он заставлял их прозябать. И только катар желудка иногда брал над ним верх. Тогда он присаживался на корточки и, считая, что это ему помогает, пребывал в этой позе часами, пока не проходил приступ. Лицо его становилось беспомощным и немного виноватым. Все мешочки, припухлости и складочки выступали на нем еще более рельефно, чем обычно. «Забирает, собака!» — говорил он, как бы оправдываясь в своей слабости.

С нетерпимостью первого ученика Володя осуждал и то, что можно назвать научными заблуждениями Виктора Прокофьевича. Не получив никакого образования, взявшись за чтение уже в пожилом возрасте, Виктор Прокофьевич пронес через всю жизнь бремя некоторых научных заблуждений, от которых ни за что не хотел отказываться.

Не человек произошел от обезьяны, а обезьяна от человека. Огурцы вредны. Писатель Алексей Толстой — сын Льва Толстого. Лучший в мире револьвер — наган солдатского образца. Арбузы чрезвычайно полезны. Евреи могут петь только тенором. Характер мышления зависит от состава пищи, и т. д.

Желая отметить свое пятидесятидвухлетие, Виктор Прокофьевич поехал в Одессу и купил себе в подарок гипсового коня. Володя иронически отнесся к этому поступку. С нечуткостью человека, никогда не знавшего, что такое одиночество, избалованного привязанностью друзей и родных, он осуждал маленькие чудачества и странности этого старого, заброшенного холостяка.

Но однажды Виктор Прокофьевич прогремел на весь уезд: он разыскал и вернул потерпевшему пару украденных лошадей. Обнаружение украденных лошадей в те времена в уездном розыске считалось почти невозможным. Сам начальник уезда товарищ Цинципер поддерживал эту теорию. Виктор Прокофьевич, работавший в розыске всего лишь недели две, проявил в этом деле прямолинейность невежды. Пренебрегая самой элементарной разработкой, как был, в деревянных стукалках, он поехал на ближайший конский рынок, где потерпевший и опознал своих кобыл.

С этого дня Володя стал подозревать в Викторе Прокофьевиче талант самородка, поселился с ним в одной

комнате и в конце концов подружился со стариком. Он понял, что все научные заблуждения Виктора Прокофьевича, все его маленькие чудачества не могут заслонить двух его качеств: честности и здравого смысла. В свою очередь, Шестаков привязался к Володе. Это не была корыстная и насмешливая дружба Грищенко, а искренняя привязанность человека добродушного и бесхитростного.

Шестаков был старым типографским метранпажем. Всю жизнь он простоял за талером в одной из типографий Рязани. Ровная и спокойная линия его судьбы под конец изобразила неожиданную закорючку: типографию ликвидировали, а его перебросили на работу в милицию. Как раз в это время в Рязани и уездных городах — Пронске, Егорьевске, Сапожке, Спасске — набирали милиционеров для посылки на Одессщину, только что освобожденную от белых. Шестаков, считавший свои болезни действительными только при призывах в царскую армию, принял мобилизацию без возражений. Как был, в черной сатиновой рубашечке с перламутровыми пуговичками, подпоясанной шнурком, нацепив лишь большой милицейский нагрудный знак, он погрузился в теплушку и после двухнедельного путешествия вместе с тремястами пожилыми рязанскими милиционерами прибыл в Одессу. Все это были члены профессиональных союзов, люди непризывных возрастов, степенные и малоподвижные — в первое время им трудно было тягаться с многоопытными одесситами, которых стесняли рамки законности. Два качества, однако, делали их большой силой: верность и честность. Все знали: раз рязанец — значит, ничего не возьмет и никого напрасно не обидит. В Одессе Шестакова перевели из милиции в уголовный розыск. Так старый метранпаж стал агентом уголовного розыска, так он променял Рязань, в которой прожил всю жизнь, на Одессу, и все это случилось раньше, чем типографская краска вымылась из-под его ногтей.

Товарищ Цинципер внимательно отнесся к новому агенту, решил не бросаться им зря и поэтому направил его в Севериновку, так как считал, что именно здесь, под руководством Володи, тот приобретет наиболее глубокие знания в наиболее короткий срок.

Володя усердно занялся повышением квалификации Виктора Прокофьевича. Он заставил его прочитать учебник судебной медицины, ознакомиться с основами химии и даже проштудировать курс дактилоскопии, хотя Севериновский уголовный розыск и не располагал еще ни дактилоскопическим кабинетом, ни преступниками, которые могли бы оставлять в нем отпечатки своих пальцев. С присущим ему уважением к книгам Виктор Прокофьевич читал все, что ему давал Володя; он внимательно выслушивал историю о баскервильской собаке и с интересом разглядывал сквозь лупу строение текстильных тканей, эпидермис кожи и человеческие волосы различных групп, добываемые Володей у младших милиционеров. При этом он думал то, что должен был думать старый, благоразумный типограф, знающий и видящий многое такое, чего нельзя разглядеть в самую сильную лупу. Однажды вечером, сидя, по обыкновению, на корточках у стены и дымя «козьей ножкой», он сказал Володе:

— Как хотите, Володя, а мое мнение такое: главное в нашем деле — не ползанье на четвереньках с увеличительным стеклом, а поддержка населения. Кого больше — честных людей или жуликов? Если все честные люди возьмутся нам помогать, мы скоро останемся без работы.

Он стал разъезжать по комитетам крестьянской бедноты, деревенским ячейкам комсомола, всеобучам, делал доклады в волостных ревкомах и тихо и незаметно, без шума и

стрельбы, изрядно почистил за месяц несколько деревень вокруг Севериновки.

Благодаря Виктору Прокофьевичу в камере арестованных Севериновского уголовного розыска наконец затеплилась жизнь. Он обнаружил преступников там, где Володе никогда не пришло бы в голову их искать: в самой севериновской раймилиции. Он извлек оттуда целую плеяду взяточников и даже, невзирая на протесты Володи, стал подбираться к Грищенко.

Отрицать успехи Виктора Прокофьевича Володя не мог, но применяемые им методы он считал кустарными. «Это все равно, что красивое пение без школы»,— говорил он. Шестаков между тем, ободренный удачами, поставил перед собой задачу, которую Володя считал непосильной даже для себя: он решил поймать знаменитого бандита Сашку Червня.

Поимка Червня и была тем важным и совершенно секретным делом, ради которого у Володи было назначено свидание в Одессе с Виктором Прокофьевичем.

5

Володя приехал домой поздно ночью, бросился в чистую постель, приказал, чтобы его разбудили ровно без двадцати минут шесть, и моментально уснул.

Ровно без двадцати шесть мать разбудила Володю. За годы его ученья она приучила себя просыпаться в заказанное сыном время с точностью до одной минуты. Если бы это понадобилось Володе, она могла бы проснуться в шесть минут пятого или без семнадцати три.

Проснувшись, Володя, по старой привычке, нежился минут пятнадцать в постели, хотя и сознавал, что каждая минута промедления может оказаться гибельной для дела.

Эти пятнадцать минут были наполнены приятными размышлениями. Володя вспомнил, что отвечает за пять волостей, и эта мысль доставила ему удовольствие. Он повторил про себя названия своих волостей: Севериновская, Бельчанская, Фестеровская, Куртовская, Буялыкская. Он представил себе их очертания на географической карте. Фестеровская волость была похожа на маленькую Италию, а весь район — на распластанную телячью кожу. Володя вспомнил улицы, площади, рощи и баштаны знакомых сел, помечтал о неизвестных землях и неисследованных хуторах на окраине района, где он еще не успел побывать.

Володя полюбил деревню так, как может полюбить ее только закоренелый горожанин в семнадцать лет. Поездка в незнакомое село радовала его, как географическое открытие. Володю влекло туда, где не ступала еще его нога. За каждым горбочком, за каждой рощей перед ним открывались неизвестные страны. В бричке он становился путешественником. Ему нравился самый процесс езды: в бричках ездили ответственные работники. В пути, разморенный зноем и монотонным покачиванием, Володя любил наблюдать, как мелькает заклепка на ободе колеса, как вздрагивает на ухабах проеденное ржой крыло брички, как подпрыгивает съехавший на спину наган Грищенко, сидящего на ко́злах. Он с гордостью думал, что все это движение совершается ради него. От него зависит, куда ехать. Везут его, Володю. Ради него, Володи, вертятся колеса, семенят гнедые коники и Грищенко размахивает кнутом.

Тщеславие, простительное в человеке, который еще не привык быть взрослым, иногда побеждало врожденную Володину скромность. В глубине души он сознавал, что носит кольт обнаженным не потому, что это удобно, а потому, что это приятно. Не менее приятно было ставить на бумаге круглую печать. Иногда он оттискивал ее и на тех бумагах, где достаточно было углового штампа. В протоколах допроса



ему нравилась заключительная фраза: «Больше ничего показать не имею, в чем и расписываюсь». Ему импонировала и общая конструкция фразы и особенно глагол «не имею». Ему казалось, что это слово превосходно отражает ту крайнюю степень опустошенности, какую являет собой обвиняемый в результате искусного допроса — обессиленный, дрожащий, открывший все свои мрачные тайны, раздавленный неумолимой логикой следователя.

Но больше всего Володя любил расхаживать по базару меж возов и ловить на себе почтительные взгляды приезжих хозяев. Иногда он подходил к ним и проверял их документы и конские карточки. Дядьки́ были большей частью совершенно мирные, и документы их оказывались в полном порядке. Володя уходил от возов, чувствуя свою вину перед дядька́ми; он был молод и не догадывался, что дядьки́ им весьма довольны. Довольны же они были потому, что испытывали радостное ощущение миновавшей опасности. Сохраняя монументальную неподвижность, которая позволяла догадываться о том, что они сидят на продуктах, привезенных для продажи и спрятанных где-то в глубине фургонов, под мешками с сечкой, под овчинами, ряднами и соломенной трухой, хозяева еще долго смаковали воспоминание о неприятностях, которые могли с ними произойти, но не произошли; а Володя в это время шагал в другом конце базара, пристально вглядываясь в лица дядько́в и чувствуя на себе их почтительные взгляды.

Володя гордился не только своей работой, но и своими друзьями: верным Шестаковым и смельчаком Грищенко. Но его очень огорчала неприязнь, которую питали друг к другу эти превосходные люди. Действительно, им трудно было сойтись — уж очень они были различны. Шестаков был совершенно равнодушен к вещественным доказательствам; Грищенко обожал обыски и конфискации. Шестаков был близорук, кособок и немного смешон; Грищенко был строен, могуч и ловок, как Кожаный Чулок. Только один раз мелькнула надежда, что они сойдутся во взглядах: совершенно случайно выяснилось, что Грищенко, так же как Шестаков, является горячим сторонником траволечения. Увы! Грищенко считал, что все травы нужно настаивать на водке. Он даже рассматривал последнюю как главный ингредиент целебного настоя. Это вызвало, конечно, горячие возражения со стороны Виктора Прокофьевича и в конце концов еще более отдалило друг от друга Володиных друзей.

Итак, Володя нежился в постели; но, вспомнив о Балковской, он вскочил на ноги. Он одевался, умывался и завтракал с такой стремительностью, что уже через десять минут был совершенно готов. Нацепив на себя кольт и торопливо чмокнув мать, он побежал к Шестакову.

Володя избегал приподнимать завесу над своим прошлым. Биография была его больным местом.

В каждом гвозде грищенковских ботинок, в каждой рябине его изрытого оспой лица было больше героизма, чем во всем Володином прошлом. Кто бы мог подумать, что за спиной начальника Севериновского уголовного розыска нет ничего, кроме гимназии! Что человек, приводивший в трепет целое местечко, еще два месяца назад был гимназистом седьмого класса? Но это было так. По молодости лет Володя еще ни с кем не воевал: ни с белыми, ни с петлюровцами, ни с махновцами, ни с григорьевцами. Он не был ни на одном из фронтов и две собственные бомбы-лимонки, привезенные им с собою в Севериновку, он выменял у знакомого пятиклассника за фотоаппарат, полученный от папы в день рождения.

Он попал в уголовный розыск по знакомству. Друг отца, помощник присяжного поверенного Цинципер, подвергавшийся репрессиям при ца-

ризме, был назначен советской властью начальником уездного уголовного розыска. Товарищ Цинципер, человек городской, гуманитарного воспитания, никогда до этого назначения в деревне не бывал, если не считать выездов на дачу в Гниляково. Из крестьян он знал только молочниц. Вероятно, ему никогда не приходилось видеть и преступников. Он не встречал их даже в качестве подзащитных, ибо из-за радикальных убеждений при старом строе был лишен практики. Однако назначение товарища Цинципера не было ошибкой. Дело в том, что у советской власти совершенно не было специалистов по уголовному розыску. Специалисты были лишь из старого сыскного отделения, но их не только нельзя было привлекать к работе, но, наоборот, полагалось разыскивать и сажать. И получилось почему-то так, что больше всего в уездном уголовном розыске оказалось присяжных поверенных; на втором месте были гимназисты, затем шли педагоги, зубные врачи и прочие лица, отбившиеся от своих профессий, лица совсем без определенных занятий и, наконец, просто лица, искавшие случая поехать в деревню за продуктами. Среди них затерялась кучка пожилых рязанских милиционеров и несколько рабочих-коммунистов, присланных укомом партии. Таков был уголовный розыск, которому предстояло победить преступность на родине Мишки Япончика[1].

Володин отец не был в восторге от того, что товарищ Цинципер принял на службу его сына. Отец всегда мечтал о том, что Володя пойдет на филологический факультет Новороссийского университета. Мальчик лучше всех в классе писал сочинения и редактировал гимназический журнал «Следопыт». Правда, могло быть еще хуже. Конечно, уголовный розыск — это не филологический факультет. Но каково было одному из его знакомых, чей сынок пошел в воры!

Три с лишним года Одессу окружала линия фронта. Фронт стал географическим понятием. Казалось законным и естественным, что где-то к северу от Одессы существуют степь, леса Подолии, юго-западная железная дорога, станция Раздельная и станция Перекрестово, река Днестр, река Буг и — фронт. Фронт мог быть к северу от Раздельной или к югу от нее, под Бирзулой или за Бирзулой, но он был всегда. Иногда он уходил к северу, иногда придвигался к самому городу и рассекал его пополам. Война вливалась в русла улиц. Каждая улица имела свое стратегическое лицо. Улицы давали названия битвам. Были улицы мирной жизни, улицы мелких стычек и улицы больших сражений — улицы-ветераны. Наступать от вокзала к думе было принято по Пушкинской, между тем как параллельная ей Ришельевская пустовала. По Пушкинской же было принято отступать от думы к вокзалу. Никто не воевал на тихой Ремесленной, а на соседней, Канатной, не оставалось ни одной непростреленной афишной тумбы. Карантинная не видела боев — она видела только бегство. Это была улица эвакуаций, панического бега к морю, к трапам отходящих судов.

У вокзала и вокзального скверика война принимала неизменно позиционный характер. Орудия били по зданию вокзала прямой наводкой. После очередного штурма на месте больших вокзальных часов обычно оставалась зияющая дыра. Одесситы очень гордились своими часами. Лишь только стихал шум боя, они спешно заделывали дыру и устанавливали на фасаде вокзала новый сияющий циферблат. Но мир длился недолго; проходило два-три месяца, и снова часы становились приманкой для артиллеристов. Стреляя по вокзалу, они между делом посылали снаряд и в эту заманчивую мишень.

[1] Мишка Япончик — легендарный одесский налетчик.

Снова на фасаде зияла огромная дыра, и снова одесситы поспешно втаскивали под крышу вокзала новый механизм и новый циферблат. Много циферблатов сменилось на фронтоне одесского вокзала в те дни.

Так три с лишним года жила Одесса. Пока большевики были за линией фронта, пока они пробивались к Одессе, городом владели армии австро-германские, армии держав Антанты, белые армии Деникина, жовтоблакитная армия Петлюры и Скоропадского, зеленая армия Григорьева, воровская армия Мишки Япончика.

Одесситы расходились в определении числа властей, побывавших в городе за три года. Одни считали Мишку Япончика, польских легионеров, атамана Григорьева и галичан за отдельную власть, другие — нет. Кроме того, бывали периоды, когда в Одессе было по две власти одновременно, и это тоже путало счет.

В один из таких периодов произошло событие, окончательно определившее мировоззрение Володиного отца.

Половиной города владело войско украинской директории и половиной — добровольческая армия генерала Деникина. Границей добровольческой зоны была Ланжероновская улица, границей петлюровской — параллельная ей Дерибасовская. Рубежи враждующих государственных образований были обозначены шпагатом, протянутым поперек улиц. Квартал между Ланжероновской и Дерибасовской, живший меж двух натянутых шпагатов, назывался нейтральной зоной и не имел государственного строя.

За веревочками стояли пулеметы и трехдюймовки, направленные друг на друга прямой наводкой.

Чтобы перейти из зоны в зону, одесситы, продолжавшие жить мирной гражданской жизнью, задирали ноги и переступали через веревочки, стараясь лишь не попадать под дула орудий, которые могли начать стрелять в любую минуту. Однажды и Володин отец, покидая деникинскую зону, занес ногу над шпагатом, чтобы перешагнуть через него. Но, будучи человеком немолодым и неловким, он зацепился за веревочку каблуком и оборвал государственную границу. Стоявший поблизости молодой безусый офицер с тонким, интеллигентным лицом не сказал ни слова, но, сунув папироску в зубы, размахнулся и ударил Володиного отца по лицу. Это была первая оплеуха, полученная доцентом медицинского факультета Новороссийского университета за всю его пятидесятилетнюю жизнь. Почти ослепленный, прижимая ладонь к горящей щеке, держась другой рукой за стену, он побрел, согнувшись, к Дерибасовской и здесь, наткнувшись на другую веревочку, оборвал и ее. Молодой безусый петлюровский офицер с довольно интеллигентным лицом развернулся и ударил нарушителя по щеке. Это была уже вторая затрещина, полученная доцентом на исходе этой несчастной минуты его жизни. Когда-то он считал себя левым октябристом, почти кадетом; он заметно полевел после того, как познакомился с четырнадцатью или восемнадцатью властями, побывавшими в Одессе; но, получив эти две оплеухи, он качнулся влево так сильно, что оказался как раз на позициях своего радикального друга Цинципера и сына Володи.

Город просыпался, когда Володя выбежал на улицу. Улицы были пустынны, солнце еще пряталось за крышами домов, сыроватый воздух был по-ночному свеж. Однако это не был нормальный утренний пейзаж мирного времени. Это не было пробуждение города, который плотно поужинал, хорошо выспался, здоров, спокоен и рад наступающему дню. Не было видно пожилых дворников в опрятных фартуках, размахивающих метлами, как на сенокосе, и румяных молочниц, несущих на коромыслах тяжелые бидоны с мо-

локом; не гудел за поворотом улицы первый утренний трамвай; подвалы пекарен не обдавали жаром ног прохожих, и забытая электрическая лампочка не блестела бледным золотушным светом на фоне наступившего дня. Никто не подметал Одессу, никто не поил ее молоком. Уж год не ходили трамваи, давно не было в городе электричества, а в пекарнях было пусто.

Но утро есть утро, и город есть город. И как ни скуден был пейзаж просыпающейся Одессы, в нем были свои характерные черты. Заканчивая свои ночные труды, молодые одесситы спиливали росшие вдоль тротуаров толстые акации. Они занимались этим по ночам не столько из страха ответственности, сколько из чувства приличия и почтения к родному городу. Когда любимые дети обкрадывают родителей, они боятся не уголовного наказания, а общественного мнения.

Стволы и ветки акации тут же, на тротуаре, распиливались на короткие чурбанчики, которые складывались пирамидками на перекрестках. Через час сюда придут домашние хозяйки и будут покупать дрова для своих очагов. Дрова продавались на фунты, и каждый фунт стоил десятки тысяч рублей.

В эти дни погибла знаменитая эстакада в Одесском порту. Одесситы гордились ею не меньше, чем оперным театром, лестницей на Николаевском бульваре и домом Попудова на Соборной площади. О длине и толщине дубовых брусьев, из которых она была выстроена, в городе складывали легенды. Будь эти брусья потоньше и похуже, эстакада, возможно, простояла бы еще десятки лет. Но в дни топливного голода столь мощное деревянное сооружение не могло не погибнуть. Эстакаду спилили на дрова. Еще несколько месяцев назад жители заменяли дрова жмыхами или, как их называли в Одессе, макухой, теперь же макуха заменяла им хлеб. Одесситы, гордившиеся всем, что имело отношение к их городу, переносили это чувство даже на голод, который их истреблял, утверждая, что подобного голода не знала ни одна губерния в России, за исключением Поволжья.

Белинская улица, потерявшая за последние недели все свои великолепные акации, казалась Володе просторной и пустой, как комната, из которой вынесли мебель. Стекла в окнах домов были оклеены бумажными полосами. Опыт показал домашним хозяйкам, что эти бумажки предохраняют стекла от сотрясения воздуха во время артиллерийских обстрелов, бомбардировок с моря и взрывов пороховых погребов.

Пробежав Белинскую улицу почти до конца, Володя вошел во двор большого бедного дома на углу Базарной. Здесь остановился Шестаков.

6

Червень, которого сегодня собирался арестовать Виктор Прокофьевич, был не менее знаменит, чем Красавчик, а во многих отношениях даже превосходил его. Если мелких жуликов бывший метранпаж называл нонпарелью, то такие бандиты, как Червень, заслуживали сравнения с афишным шрифтом самых крупных кеглей.

Бывший прапорщик Сашка Шварц, известный под кличкой Червень, что значит июнь, был одним из опаснейших бандитов в уезде. Это ему принадлежал знаменитый афоризм: «Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним».

«Если вам захотелось выстрелить,— говорил Сашка Червень,— то делайте это так, чтобы после вас уже не мог стрелять никто... А для этого советую всегда стрелять первым. Никогда не сомневайтесь, нужно ли стрелять. Сомнение есть повод для стрельбы. Не стреляйте в воздух. Не оставляйте свидетелей. Не жалейте их, ибо и они вас не пожалеют. Живой свидетель — дитя вашей тупости и легкомыслия».

Не кто иной, как Сашка Червень, изобрел знаменитый прием — стрелять сквозь шинель. Руки его всегда были в карманах, в каждом кармане лежало по пистолету, и у обоих пистолетов курки были на взводе. Червень стрелял из карманов в живот врагу. Еще ни один человек не успел сказать ему «руки вверх».

План поимки Червня, разработанный Виктором Прокофьевичем, был очень прост. Этот план не отличался тонкостью, в нем не было той прозорливости, которая так нравилась товарищу Цинциперу в Володиных протоколах. Товарищ Цинципер потирал руки от удовольствия, получая Володины протоколы, и не мог оторваться от них, не дочитав до конца. Он не подозревал, что в Севериновке у него сидит не Шерлок Холмс, а Конан Дойль.

Виктор Прокофьевич писал свои протоколы красивым косым, но мало разработанным почерком, долго замахиваясь пером перед каждым нажимом; в его дознаниях не было ничего, что могло бы обратить на себя внимание товарища Цинципера. Простым и заурядным показался Володе и проект поимки Червня, составленный Виктором Прокофьевичем.

Однажды в камеру арестованных Севериновского уголовного розыска был заключен мелкий вор Федька Бык, изобличенный в краже цепей с общественных водопоев в Севериновке и Яновке. Бык был арестован на шляху. Он брел, сгибаясь под тяжестью своей добычи, которую тщетно пытался продать в течение нескольких дней. Бык даже обрадовался аресту, освободившему его от цепей, которые, возможно, пришлось бы носить на себе еще долго. Однако, когда с преступника сняли цепи, он отказался признать свою вину. Он отпирался лениво и неубедительно, лишь отдавая дань традиции. Он утверждал, что нашел цепи на дороге.

Цепи были переданы в камеру вещественных доказательств, а расследование дела поручено Виктору Прокофьевичу. Заметив отвращение, которое оставило в Быке его последнее преступление, Виктор Прокофьевич не ограничился снятием обычных показаний, но стал уговаривать вора вернуться к честной жизни. Он подолгу сидел с Быком в камере арестованных — маленьком глинобитном домике в глубине двора, где помещалась милиция. Он убеждал его порвать с преступным миром и стать честным человеком. Бык был польщен вниманием, которое ему оказывали, и проникся глубоким уважением к Виктору Прокофьевичу. Он согласился не столько из любви к свободе — часто попадаясь на мелких кражах, он был к ней довольно равнодушен,— сколько из уважения к Виктору Прокофьевичу. Даже в те короткие промежутки времени, когда Бык пользовался свободой, мысли его были в тюрьме. Стоило ему во время прогулки немного призадуматься, как ноги его сами сворачивали на мостовую, по которой он привык передвигаться, сопровождаемый стражей. Привычка к конвою так укоренилась в нем, что чувство какой-то пустоты вокруг не покидало его все время, пока он вынужден был путешествовать в одиночестве.

Склонный, как все воры, к широкому жесту, к поступкам эффектным и сентиментальным, Бык предложил ознаменовать свой разрыв с преступным миром выдачей Сашки Червня, которого часто встречал на Ставка́х, в пригороде Одессы.

Для этого нужно было выпустить Быка на свободу. Однако Володя воспротивился этому. Во-первых, он не хотел прощать Быку колодезных цепей; во-вторых, он дорожил каждой единицей, населявшей маленькую и часто пустовавшую камеру арестованных Севериновского уголовного розыска. Но Виктор Прокофьевич с такой энергией защищал этот план, что Володя сдался, и Бык был освобожден.

Прошло недели три, и вот накануне того дня, когда Красавчик угнал из Яновки зеленый фургон, в Севериновку прибыло известие от Федьки Быка. Он сообщал Шестакову, что через два дня Червень встретится в «малине» на Ставках с одним из своих друзей. Было решено, что в аресте Червня примут участие все силы севериновского уголовного розыска: Володя, Виктор Прокофьевич и Грищенко. Виктор Прокофьевич готовился к операции особенно тщательно: долго изучал план дома, двора и прилегающих к «малине» улиц, нарисованных Быком, занял у начальника милиции, в добавление к собственному, наган солдатского образца, насобирал у сотрудников полшапки патронов к нему и даже обулся в новые черные ботинки, которые обычно лежали у него в чемоданчике. За день до встречи Володи с Красавчиком Шестаков отправился в Одессу.

Виктор Прокофьевич был уже одет, когда к нему постучался Володя. Выслушав его взволнованный рассказ о неудачной погоне за Красавчиком, Шестаков сказал неодобрительно:

— Зачем же поехали на вещественных? Надо было запрячь Кохановку и начмиловского Горобца. Ох, доберусь я до вашего Грищенко!

Защищать Грищенко у Володи не было времени. Им предстояло обсудить два важных вопроса: о розыске Красавчика и засаде на Червня.

Виктор Прокофьевич развернул план Одессы. Жирной карандашной линией, пересекавшей весь город, на нем была обозначена дорога на Ставки. Самих Ставков на карте не было — они не вмещались в ней, ибо были дальше самых далеких окраин. Однако Виктор Прокофьевич успел за вчерашний день побывать там и поглядеть издали на «малину» Червня. Затем он показал Володе подробный план и двора и дома, где помещалась эта «малина»: на длинной стороне прямоугольника, изображавшего дворовый флигель, немного левее ее середины, был нарисован жирный крест. В этом месте, у стены, Бык должен был поставить лопату — знак того, что Червень здесь. Отсутствие лопаты должно было обозначать, что Червень почему-либо не пришел или опоздал. Однако, по словам Быка, Червень должен был явиться сегодня непременно.

Володя пробыл у Виктора Прокофьевича не более пяти минут, но за этот короткий срок, как это бывает у людей, хорошо сработавшихся и понимающих друг друга с полуслова, они успели обсудить все, что нужно. В результате этого обсуждения Володя набросал на клочке бумаги план на сегодняшний день. В нем было два пункта и два примечания:

1. С утра Володя идет на Балковскую осматривать постоялые дворы; Виктор Прокофьевич беседует у себя с Федькой Быком.

Примечание. Грищенко до обеда отдыхает.

2. После обеда, независимо от того, удастся поймать Красавчика или нет, они отправляются на Ставки — ловить Червня.

Примечание. Грищенко сопровождает их на Ставки.

Покончив с планом, Володя попросил у Виктора Прокофьевича пальто. Он брал у него пальто всякий раз, когда собирался переодеться, чтобы остаться неузнанным. В нем было жарко и тесно; это было воскресное пальто пожилого рабочего — черное с бархатным воротником. Но служебное рвение не раз заставляло Володю прибегать к такой маскировке в самые знойные июльские дни. Севериновские самогонщики, любившие посудачить в свободное время на завалинке у входа в угрозыск, видя начальника в пальто Виктора Прокофьевича, из вежливости не здоровались с ним — они притворялись, что не узнают Володю. «Пошел на операцию», — шептали они друг другу, глядя вслед молодому начальнику.

Володя попрощался с Виктором Прокофьевичем и уже был на площадке лестницы, когда тот снова окликнул его. Прикрыв за собой дверь, он близко подошел к Володе.

— Не забудьте взять на Ставки свои лимонки,— сказал он тихо и очень серьезно.

7

Подняв узкий бархатный воротничок пальто и тщетно стараясь спрятать в нем свое лицо, Володя вышел на улицу. Чтобы попасть на Балковскую, ему нужно было пройти через весь город.

Володя опасался встреч со знакомыми. Его девизом было: агент знает и видит все, но никто не знает и не видит агента. Особенно опасен был район гимназии, где он еще недавно учился. Этот район буквально кишел знакомыми. Мужская гимназия помещалась в конце Успенской улицы; ее можно было обойти, но тогда Володе пришлось бы приблизиться к женской гимназии Баленде-Балю, что на Канатной. Район женской гимназии был для Володи не менее опасен.

Володя решил проскользнуть меж двух гимназий, пройдя по Маразлиевской улице. Это была однобокая улица; дома вытянулись по левой ее стороне, а справа раскинулся Александровский парк. Маразлиевская была улицей богачей; перемены военного счастья на фронтах революции рождали в ней то радость, то горе, то отчаяние, то надежду, и в этом она была подобна улицам бедняков. Сейчас Маразлиевская с ее особняками и домами дорогих квартир казалась самой заброшенной, безлюдной и печальной улицей в городе.

Оглядываясь по сторонам, Володя быстро шел по Маразлиевской, задавая себе все тот же вопрос, который диктовали ему теория и практика розыска: что делал бы он сейчас, если бы оказался на месте Красавчика? Он старался представить себе все, что способны родить порок и преступление. Однако то, что рисовало его воображение, было бесцветным и неопределенным.

Володя уже миновал опасную зону гимназий, когда с ним поравнялся высокий парень лет восемнадцати. На нем были щегольские брюки «колокол», которые отличались от родственных им брюк «клеш» тем, что были еще шире внизу и еще у́же вверху, и короткая черная куртка, которая могла сойти и за матросский бушлат, и за твинчик немецкого колониста. Несмотря на жаркий день, воротник его куртки был поднят, и он старался спрятать в нем свое лицо. Он шел, глядя прямо перед собой и не обращая внимания на прохожих.

Его бронзовая твердая скула показалась Володе знакомой. Если бы парень случайно не покосился на Володю, эта встреча не имела бы последствий и Володе, вероятно, удалось бы сохранить свое инкогнито до самой Балковской. Но, поймав на себе быстрый, рассеянный взгляд малознакомого молодого человека, Володя с торопливостью, свойственной застенчивым людям, поклонился ему.

— Ваша карточка мне знакома,— сказал парень учтиво, прикасаясь двумя пальцами к кепке.— Не припомню только, из какого она альбома.

— Мы знакомы по Черному морю,— ответил Володя.

Они были знакомы не по тому Черному морю, которое омывает полуостров Крым, побережье Кавказа, Малую Азию, Болгарию, Румынию и южный край украинской степи, а по тому «Черному морю», которое находилось в ста шагах от Маразлиевской, за низеньким уступчатым заборчиком Александровского парка и представляло собой большую, почти круглую яму с пологими склонами и ровным, сухим дном. «Черным морем» с незапамятных времен владела команда футболистов, именовавших себя черноморцами. Как футбольное поле «Черное



море» было необыкновенно комфортабельным: окруженное пологими склонами, оно само возвращало игрокам мяч, вылетевший за пределы поля. В команде черноморцев играли портовые парни, молодые рыбаки с Ланжерона и жители старой таможни. Они выходили на поле в полосатых матросских тельниках и длинных, достигавших колен, старомодных трусиках, которые, впрочем, назывались тогда в Одессе не трусиками, а штанчиками. В своем натиске черноморцы не знали преград. Свирепая слава, добытая ими на заре футбола, в боях с командами английских пароходов, устрашала футболистов других одесских команд. Никто из цивилизованных футболистов Одессы не решался ставить на карту спортивное счастье, здоровье, а может быть, и жизнь, защищая свои ворота против черноморцев. Поэтому с той поры, как в Одесский порт перестали заходить английские пароходы, черноморцы играли главным образом друг с другом.

Володя был из «Азовского моря». Рядом с «Черным морем» была яма поменьше, которую одесские мальчики называли «Азовским морем». Здесь тренировалась команда гимназистов. Как это ни странно, черноморцы иногда приглашали на товарищеский матч команду из соседнего «моря», и гимназисты принимали вызов. Это была игра львов с котятами. Если гимназистам не откусывали в игре ни ног, ни голов, то они были обязаны этим той деликатности, которая присуща сильному в обращении со слабым и беспомощным.

Володя был левым инсайтом у гимназистов, а высокий парень — голкипером у черноморцев. В те времена высокие голкиперы ценились еще больше, чем сейчас. Обычно ворота обозначались кучками одежды, сброшенной с себя футболистами перед игрой, и верхняя граница ворот являлась воображаемой; естественно, что чем выше мог достать своей пятерней голкипер, тем спокойнее чувствовала себя команда. Парень в брюках «колокол» был самым высоким голкипером в командах обоих «морей».

Но уже давно не летал футбольный мяч над «Черным морем» и примыкающим к нему «Азовским». Обезлюдело славное племя черноморцев, и некому было вспоминать о боях с командами английских пароходов. Раньше, когда старшие черноморцы уходили учиться в мореходку или поступали в торговый флот, места в команде занимали молодые черноморцы — их младшие братья, ребята с Ланжерона, из старой таможни и портовых улиц, такие же загорелые и веснушчатые, такие же свирепые в нападении, защите и полузащите. Поколение футболистов становилось моряками, но за ним уже шло новое поколение футболистов, тоже будущих моряков.

Война разбросала черноморцев, уничтожила футбол, мореходку и торговый флот. Опустело «Черное море». Засохшая грязь на дне его потрескалась и покрылась чешуйками, как кожа на руке старика.

Володя с трудом узнал голкипера, которого не видел года два. Тот возмужал, похудел и стал еще выше. Между ними никогда не было ни дружбы, ни знакомства. Он знал лишь, что черноморец — сын таможенного сторожа. Однажды Володя дал очень красивый шут по воротам: он взял мяч с воздуха на подъем и ударил шагов с двадцати; мяч прошел меж двух защитников, но, к сожалению, прямо в руки голкиперу. Кроме этого памятного шута, их ничто не связывало. Однако почтение, которое питали гимназисты к черноморцам, было таким глубоким и неизменным, что Володя, невзирая на свое солидное положение, увидев голкипера, ощутил подобострастную радость котенка, повстречавшего доброго льва.

Они пошли рядом, задавая друг другу обычные вопросы: как жи-

вешь, где достал такие брюки, что делает Коля и куда девался Петя.

Володя сдержанно сообщил, что живет в деревне, меняя вещи на продукты. Узнав об этом, его спутник оживился и сказал, что тоже живет в деревне и тоже меняет вещи на продукты. Естественно, что разговор коснулся вещей, продуктов и цен. Однако Володя обнаружил во всем этом такую позорную неосведомленность, что поспешил перевести разговор на футбол.

Глаза их заблестели, когда они заговорили о футболе, ибо нет на свете таких болтунов, сплетников и фантазеров, как любители футбола. Они рылись в воспоминаниях, смаковали удары, осуждали и превозносили. От своего спутника Володя узнал о судьбе других черноморцев. Правый защитник Звенчик, оказывается, стал петлюровцем, и его порубили белые. Правый нападения Кирюша пошел к белым, и его, наоборот, порубили петлюровцы. Капитан Ваня Поддувало сошелся с лезгинами из контрразведки генерала Гришина-Алмазова, шлялся по городу в черкеске и был убит темной ночью на Ланжероне неизвестно кем. Зато вся пятерка нападения — пять молодых рыбаков дождались красных и пошли на Врангеля.

Раньше черноморцы делились только на беков, хавбеков и форвардов; казалось, что других различий между ними нет. Теперь, когда команда разделилась по-новому, когда одни стали белыми, другие красными, третьи жовтоблакитными, открылось то, что никогда раньше не было заметно на футбольном поле: что капитан Ваня Поддувало — сын богатого портового трактирщика, а форварды — бедные рыбацкие дети. И это определило их места на полях сражений.

Так Володя и черноморский голкипер брели, разговаривая, через весь город, и каждый раз, когда Володе нужно было свернуть налево, оказывалось, что голкиперу тоже нужно налево; и каждый раз, когда ему требовалось повернуть направо, оказывалось, что голкиперу нужно туда же. У Володи начало зарождаться подозрение, что черноморец тоже идет на Балковскую, и, хотя такое предположение казалось почти невероятным, по мере приближения к Балковской подозрение превращалось в уверенность. Это очень тревожило Володю, ибо голкипер мог помешать ему ловить Красавчика. Володя попытался даже скрыться от своего спутника — он сворачивал то на одну улицу, то на другую, но ему не везло: всякий раз он выбирал именно ту улицу, которая была нужна его спутнику. Он никак не мог отвязаться от этого человека.

Беседа о футболе, однако, была очень приятной. То, что говорил один, редко совпадало с тем, что сообщал другой, ибо, как все люди, они лучше помнили собственный вымысел, чем действительные события. Но они выслушивали друг друга со снисходительной уступчивостью, ибо каждый интересовался не столько тем, что говорил другой, сколько тем, что собирался сказать сам. Каждый с нетерпением ожидал окончания речи собеседника, чтобы приступить к изложению собственного мнения; разговор напоминал игру в футбол, где один старается вырвать мяч у другого, чтобы ударить самому.

На Дерибасовской улице темой их разговора был шут Яшки Бейта, на Преображенской — бег Вальки Прокофьева, на Софийской — вопрос об искусственном офсайте, доступный пониманию только самых тонких знатоков. На Нарышкинском спуске они коснулись вопросов футбольной казуистики (как должен поступить судья, если игрок возьмет мяч в зубы и внесет его в ворота). На Московской улице они заговорили о том, как мотается знаменитый форвард Богемский, и здесь в их взглядах неожиданно обнаружились столь крупные расхождения, что при всей снисходительности друг к другу они вступили в серьез-

ный спор. Желание доказать свою правоту настолько овладело ими, что они решили наглядно продемонстрировать прием, послуживший причиной спора, и для этого, отыскав подходящий камешек, остановились на перекрестке, отошли на край тротуара, положили камешек на землю и попрыгали вокруг него, воспроизводя приемы Богемского так, как их понимал каждый. Чтобы овладеть камнем, голкипер, улучив момент, отпихнул Володю в сторону; бедро его на секунду прижалось к Володиному бедру и совершенно явственно ощутило твердое тело кольта, лежавшего в кармане Володиного пальто.

После этого голкипер стал задумчивым и грустным и, дойдя до ближайшего угла, попрощался с Володей.

— Покедова, мне на Бажакину,— сказал он и свернул налево.

Пройдя еще два квартала, Володя тоже свернул налево — на Балковскую.

Он прошел ее всю, от истоков до самого устья. Постоялые дворы расположились в низовьях Балковской, по обоим ее берегам, там, где улица впадает в степь.

Как на многоводной реке, идут по Балковской в море-степь торговые караваны и, выйдя из устья улицы, расходятся во все стороны — на Тирасполь, на Балту, на Голту. Здесь прощаются с Одессой и здороваются с ней. Если бы степь была морем, в конце Балковской стоял бы маяк, освещающий вход в гавань.

Улица состояла из постоялых дворов, фуражных лавок, кузниц, шорных мастерских, трактиров. Это был Бродвей для еврейских извозчиков — балагул; самые прихотливые желания их удовлетворялись здесь без отказа. Здесь была даже синагога для балагул, с балагуламислужками. Не меньше, чем балагулы, любили Балковскую конокрады. Между членами этих двух цехов царила извечная вражда. Но всегда почему-то там, где вращались балагулы, обосновывались и конокрады. Кошки и собаки, не любя друг друга, обыкновенно живут под одной крышей.

В одном из постоялых дворов жил портной Г. Кравец, который, по слухам, обшивал виднейших конокрадов уезда. Идя по улице, Володя увидел на противоположной стороне его зеленую вывеску. Слева на вывеске желтыми буквами было написано по-украински:

«Кравець Г. Кравець».

Справа было написано по-русски: «Портной Г. Кравец».

Рядом с вывеской и перпендикулярно к ней на ржавом стержне висел железный пиджак, скрипевший под ударами ветра.

«Что я сделал бы,— спрашивал себя Володя, разглядывая вывеску,— если бы оказался на месте Красавчика?»

Мучимый этим вопросом, он в нерешительности стоял перед вывеской.

«Я мог бы зайти к этому портному, чтобы заказать себе новый костюм. Я заплатил бы за него из денег, вырученных от продажи украденных лошадей».

Несомненно, это предположение имело столько же оснований, сколько всякое другое, и поэтому Володя решил начать поиски с посещения портного. Прохаживаясь взад и вперед, Володя обдумывал наводящие вопросы, посредством которых он выведает у портного что-либо о его преступных связях.

Когда план был готов, Володя, нащупав револьвер, лежавший в кармане пальто дулом вверх, стал переходить улицу. Дойдя до ее середины, он остановился, чтобы пропустить фургон, выехавший из ворот соседнего постоялого двора.

Лошади шли шагом, и Володя, полный мыслей о портном, рассеянно глядел на фургон. То, что это был зеленый фургон, само по себе ни о чем не говорило. Девять фургонов из десяти на Одессщине окра-

шены в зеленый цвет. Было другое, более важное обстоятельство: левое заднее колесо фургона было новым, с белыми некрашеными спицами.

Володя пошел рядом с фургоном. В голове его все спуталось. Гриценко сообщил слишком много примет. Теперь они теснились в мозгу Володи, мешая принять решение. Розочки на задке, лысины на мордах, сбруя с бляшками, некованые копыта... Два аршина два вершка от холки до земли. Он шел рядом с фургоном, положив правую руку на высокий борт — дробину. Ему одновременно хотелось и забежать вперед, чтобы посмотреть на лошадиные лысины, и заглянуть под копыта, чтобы узнать, кованы ли они, и броситься назад, чтобы освидетельствовать розочки на задке фургона. Немецкой ли работы сбруя? Володя поглядел на возницу. Воротник его полуморского, полустепного твинчика был поднят. На мешке с поло́вой сидел вратарь «Черного моря». Это еще больше смутило Володю.

Нужно было что-то делать, что-то говорить. Но что?

Вместо само собой подразумевавшегося «руки вверх» Володя произнес наконец, запинаясь:

— Скажите... как ваша фамилия?

Фамилии Красавчика он не знал, вопрос был бесполезен.

— Фамилия? — переспросил голкипер и прищурил свои глаза цвета ячменного пива.— Иээх! — дико взвизгнул он и хлестнул лошадей.

Дробина толкнула Володю в сторону и вперед, затем он почувствовал удар в поясницу, упал на руки, новое заднее колесо перескочило через его спину; еще миг — и, стоя на четвереньках, он увидел перед самым своим носом розочки на задке фургона. Они удалялись от него со все возрастающей быстротой. Вид этих розочек почти ослепил его. Он вскочил на ноги и бросился вперед с такой стремительностью, будто им выстрелили из невидимой катапульты. Сделав несколько отчаянных скачков, он вцепился в задок в тот момент, когда фургон набрал полную скорость и розочки грозили скрыться навсегда. Он перевалился корпусом через борт и, подрыгав в воздухе ногами, очутился в фургоне.

Черноморец, не оглядываясь, хлестал лошадей так, будто хотел перерубить их пополам. Володя вскочил на ноги и, балансируя, стал передвигаться вперед. Увы! Царственная поза, в которой Володя видел Красавчика в тот день, когда тот удирал из Севериновки, плохо удавалась. Он чувствовал, что на левом ухабе его может выбросить из повозки. Наконец, кое-как утвердившись на зыбком днище фургона, он схватил за дуло револьвер и высоко поднял его над головой. Один удар по черепу — и с преступником будет покончено. Револьвер описал большую дугу и довольно слабо ткнулся рукояткой в кепку бандита. Тот был не столько ушиблен, сколько удивлен. Но тут дело приняло уж совсем неожиданный оборот. Потеряв равновесие, Володя повалился на возницу, подмял его под себя, тот выпустил вожжи, лошади понесли. Вожжи упали в ноги лошадям, левый жеребец выскочил за постромки и скакал боком, лягаясь. Возница лежал тихо. Володя терся носом о его пыльный затылок и шершавое ухо и, видя над бортами фургона ряды скачущих домов, заборов и вывесок, соображал, что делать. Решение было принято лошадьми. Выбежав на площадь, они сами отдались в руки правосудия, остановившись у общественного водопоя, где их взял под уздцы постовой милиционер.

Через минуту фургон поехал по Балковской. Милиционер правил лошадьми, арестованный сидел на дне фургона, а Володя — на дробине. Задержанный молчал, он как-то обмяк и посерел. Футболист исчез, его место занял правонарушитель. Володя сидел на дробине, держа в руках кольт, направленный дулом

на преступника. Не было сомнения, что голкипер «Черного моря» и Красавчик — одно и то же лицо! Они проехали Балковскую, пересекли Бажакину, свернули на Московскую, миновали перекресток, где только что два молодых человека прыгали вокруг камешка, изображавшего футбольный мяч, поднялись по Нарышкинскому спуску и через пять минут въезжали во двор дома, где помещался уездный уголовный розыск.

Затем все трое были введены в кабинет товарища Цинципера.

Его удивлению не было границ. В учреждении, возглавляемом товарищем Цинципером, поимка бандита считалась почти невозможной. Товарищ Цинципер был очень взволнован, беспрерывно снимал и надевал свое четырехугольное пенсне, потирал лысеющую голову, назвал задержанного «товарищ Красавчик», зачем-то придвинул ему стул и пригласил сесть. Красавчик сел, все продолжали стоять. Сотрудники стояли в полном молчании, пожирая глазами живого бандита. Наконец товарищ Цинципер объявил, что будет допрашивать Красавчика лично, через час, после того, как заслушает утренние доклады подчиненных. Красавчика увели, а Володя помчался к Виктору Прокофьевичу.

Виктор Прокофьевич был дома — он только что отпустил Федьку Быка. Володя поведал Шестакову о своих приключениях, о поимке Красавчика, но не скрыл и своих ошибок; рассказал, как он путешествовал с преступником через весь город, всячески стараясь от него ускользнуть, и как он был удивлен, когда, наперекор его усилиям, благодаря счастливой случайности Красавчик оказался у него в руках.

— Эх, Володя, Володя! — сказал Виктор Прокофьевич укоризненно. — Ваша главная ошибка заключалась поставить себя на место Красавчика. А что вы знали о Красавчике? Ничего. Надо было, наоборот, поставить Красавчика на место себя. Тогда бы получилась более верная картина. Вы подумали бы о том, что и у Красавчика могут быть в городе родители, к которым он пошел ночевать; что и Красавчик, ворочаясь в постели, думал о зеленом фургоне, а утром, напившись чаю и попрощавшись с матерью, побежал на Балковскую.

Володя хотел что-то возразить, но дверь открылась и в комнату вошел фельдъегерь товарища Цинципера.

По дороге на допрос Красавчик бежал из-под стражи...

9

Самыми бандитскими районами в уезде были признаны одесские пригороды.

Ставки считались самым бандитским из пригородов.

Как при отливе, когда океанские воды уходят и на обнажившемся дне остаются мутные лужицы с застрявшей в них мелкой рыбешкой, тиной и водяными блохами, так в степных просторах Одесщины, едва схлынули волны гражданской войны, осела «кукурузная армия» — пестрая смесь из остатков разбитых банд, политических и уголовных головорезов, конокрадов и контрабандистов.

«Кукурузной» эта армия называлась потому, что убежищем ее на Одесщине, лишенной лесов, были кукурузные заросли. Днем бандиты сидели в кукурузе, а ночью выходили на шляхи. Одно время было так: днем в уезде одна власть, ночью — другая.

Три месяца назад из Одесщины ушли белые, на этот раз навсегда; до них ушли петлюровцы, махновцы, французы, англичане, греки, поляки, австрийцы, немцы, галичане. Но еще носился по уезду на красном мотоциклете марки «Индиан» организатор кулацких восстаний немец-колонист Шок; еще не был расстрелян гроза местечек Иоська Пожарник, обязанный кличкой столь прекрасным своим лошадям, что равных им

можно найти лишь в пожарных командах; уныло резали своих соплеменников молдаване братья Мунтян; грабил богатых и бедных болгарин Ангелов, по прозвищу Безлапый; еще не был изловлен петлюровский последыш Заболотный, уходивший после каждого налета через Днестр к румынам; еще бродил на воле бандит в офицерском чине Сашка Червень, не оставлявший свидетелей. В самой Одессе гимназистка седьмого класса Дуська Верцинская, известная под кличкой Дуська-Жарь, совершила за вечер восемнадцать налетов на одной Ришельевской улице и только по четной ее стороне. Самогонных аппаратов в деревнях было больше, чем сепараторов; спекулянты ездили по трактам шумными обозами; в кулацкой соломе притаились зеленые пулеметы «максимы», а сами кулаки, еще не вышибленные из своих гнезд, готовили месть и расправу.

Странные дела творились в преступном мире. Богатые чаще грабили бедных, чем бедные богатых. Кулаки посягали на добро незаможников. Неимущие становились опорой законности, а собственники — вдохновителями анархии и разбоя. По уезду гремели конокрады из помещиков и налетчики из гимназистов. Они свозили награбленное к малинщикам из священников. Бывший гласный городской думы попался на краже кур и гусей.

В Одесском уезде жили бок о бок украинцы, молдаване, немцы, болгары, евреи, великороссы, греки, эстонцы, арнауты, караимы. Старообрядцы, субботники, молокане, баптисты, католики, лютеране, православные. Жили обособленно, отдельными селами, хуторами, колониями, не смешиваясь друг с другом, сохраняя родной язык, уклад, обычаи.

Немцы жили, как полтораста лет назад их прадеды жили в Эльзасе и Лотарингии,— в каменных домах с отстроверхими кровлями, крытыми разноцветной черепицей. Дома, мебель, повозки, платья, посуда, вилы и грабли, кухонные плиты, молитвенники — все это было точь-в-точь таким, как в Эльзасе.

Колонии назывались Страсбург, Мангейм — как города на Рейне. Немцы были разные. Были немцы с французскими фамилиями — онемеченные эльзасские французы, с заметным украинским налетом, и были немцы с немецкими фамилиями. Были немцы — богачи и бедняки, немцы-католики и немцы-лютеране, немцы, говорящие на гохдойч, и немцы, говорящие на платдойч, плохо понимающие и не любящие друг друга. Кроме немецкого, колонисты знали немножко украинский. «Мы нимци»,— говорили они о себе.

Молдаване на Одессщине жили точно так, как их предки в дунайских княжествах двести — триста лет назад; ели кукурузную мамалыгу с кислыми огурцами и медом, сами ткали полотно и шерсть и не понимали по-русски. Французы ухаживали за своими виноградниками, как где-нибудь в Провансе.

Рядом с огромными нищими селами стояли немецкие хутора, где каждый из тридцати хозяев носил фамилию Келлер или Шумахер, имел от тысячи до полутора тысяч десятин тяжелой черноземной земли и полсотни заводских лошадей. Были села, где жили сплошь хлебопашцы, и были села, где жили виноделы, огородники, гончары, шорники, брынзоделы, рыбаки, столяры, шинкари, и даже села, где жили одни только музыканты, разъезжавшие по свадьбам и крестинам.

Были села, особенно поближе к Одессе и по Днестру, где жили бандиты. Бандиты были из немцев и болгар, из евреев и молдаван, из украинцев и греков, из мирного и немногочисленного племени караимов. Были бандиты из баптистов. Вечерами они выходили на шляхи и в ночной темноте грабили и убивали, не разбираясь в национальности. И по утрам у дорог находили трупы немцев и болгар, евреев и молдаван, украинцев и караимов.

Но Володя, описывая в своих актах, как выглядят эти трупы и в каких положениях застигло их утро, не мог охватить взглядом всю картину. Ему не были понятны ее масштабы и социальный смысл. Но ему была ясна его задача. Вид первого трупа, который ему пришлось осматривать, глубоко потряс его. Это не был страх перед мертвецом. Это было негодование и острое сознание чужого человеческого горя. «Люди, только что освобожденные революцией, не должны умирать от руки убийц»,— сказал он себе. Он должен помочь трудовым селянам сбросить с себя последнее иго — бандитизм. Чтобы они могли мирно работать на своих полях и виноградниках. Пасти овец. Ездить по шляхам днем и ночью. Повыбрасывать винтовочные обрезы. Спать спокойно в своих хатах.

...Даже люди, столь мужественные и привыкшие к опасностям, какими Володя считал себя, Грищенко и отчасти Шестакова, испытывали неприятное чувство, приближаясь к Ставка́м — этому неприступному бандитскому гнезду.

Не всякий одессит знает, где расположены Ставки, и только очень немногие бывали на этой глухой окраине.

Несколько раз город кончался, пропадал, начинались пустыри, мусорные свалки, чахлые баштаны и, наконец, голая степь; потом степь снова переходила в огороды, свалки, пустыри, появлялись какие-то бесконечные заборы, склады, крупорушки, возникали подобия улиц. Володя, Виктор Прокофьевич и Грищенко все шли и шли, выходили из города и снова входили в него, а до Ставков было еще далеко, и они начинали опасаться, что не попадут туда до темноты.

Они шли на Ставки брать Червня — Володя, Виктор Прокофьевич и Грищенко, особенно мрачный сегодня и как будто чем-то раздраженный. Они шли через пустыри, мимо бесконечных заборов из желтого песчаника, утыканных сверху осколками бутылок, выбирая дорогу среди обрезков кровельного железа, тряпья, жестянок, битого стекла, куч навоза и дохлых кошек.

Прохожие почти не встречались, да и самое название «прохожий» не вязалось с видом людей, пробиравшихся иногда по пустырям и переулкам Ставок. Эти встречи вызывали у мирного путника такое же чувство, какое испытывает горожанин, впервые попавший в деревню и увидевший на пути своем бодливую корову.

— Нехорошо идти гурьбой,— сказал Виктор Прокофьевич.— Если они увидят кучу народу, то догадаются, что мы идем на них облавой.

— Ще неизвестно, хто кому облаву готовит,— заметил Грищенко зловеще,— чи мы на их, чи воны на нас...

— Я с Грищенко пойду вперед,— продолжал Виктор Прокофьевич,— а вы, Володя, отстаньте шагов на пятьдесят, будете, так сказать, защищать тыл. Мы с Грищенко войдем первыми, а вы...

— Ни за что! — вспыхнул Володя.— Уж не потому ли, что Червень стреляет сквозь шинель?

— От вже и поцапались! Я можу пойти сзади,— примирительно сказал Грищенко.

Но Виктор Прокофьевич заупрямился:

— Что вы за человек, Володя? Вы обязательно хотите поймать всех бандитов сами! Вы уже поймали Красавчика, и пока хватит с вас. Дайте и старику раз в жизни поймать преступника.

В конце концов Володя согласился, чтобы не обижать старика.

— Не забудьте, Володя,— сказал Шестаков,— наш уговор насчет лопаты. Если лопаты не будет, мы поворачиваемся и на цыпочках уходим.

10

Володя пошел сзади, время от времени вынимая карманное зер-

кальце и проверяя, не выслеживает ли их кто-нибудь.

Иногда он не без удовольствия разглядывал на дороге красивые отпечатки в форме полумесяца, напоминающие следы укусов; то были отпечатки обрамленных шипами грищенковских каблуков. Бравая спина их владельца виднелась впереди, шагах в пятидесяти; рядом шагал, сутулясь, Виктор Прокофьевич.

Они подошли к переезду. Здесь, как всегда в жаркую пору, запахло железной дорогой: дегтем, гарью, застоявшейся в кюветах водой и далекими путешествиями. Володя любил этот запах. От чистенькой щебенки повеяло теплом, накопленным за день. Рельс, которого он мимоходом коснулся рукой, был горячим, хотя солнце уже зашло. Сумерки надвинулись быстро.

Еще минут пять они пробирались сквозь дыры в каких-то дощатых заборах, пока не пришли к облезлому, покрытому струпьями двухэтажному дому со сводчатой подворотней посередине, маленькими окнами и толстыми стенами, подпертыми полуобвалившимися кирпичными контрфорсами. Дом был окрашен в буро-зеленый цвет, в какой время и морские туманы красят в Одессе заброшенные строения, а городская управа — богадельни и сиротские приюты, и принадлежал к тому типу зданий, самая архитектура которых органически включает в себя запах испорченных уборных, смрад помоек, сырость и плесень внутри и снаружи.

Из дома доносилась бойкая песенка, которую пела в те дни вся Одесса:

Как приятны, как полезны помидоры,
Да помидоры, да помидоры...

Перед тем как скрыться в подворотне, Виктор Прокофьевич обернулся к Володе и кивнул ему.

Володя побежал. Он знал, что Червень с приятелем должны находиться не в двухэтажном доме, выходящем на улицу, а в дворовом одноэтажном флигеле. Когда он очутился перед длинной сводчатой подворотней, в его уши ударили рвущиеся оттуда громоподобные звуки песни, как будто он всунул голову в граммофонную трубу:

Да помидоры, да помидоры...

Володя побежал по гремящей подворотне и очутился на квадратном дворике, замощенном камнем-дикарем. Посредине росло лишь одно дерево, с голыми, скорченными, как бы застывшими в судороге, обрубками сучьев. На один из обрубков была надета большая макитра. От дерева навстречу Володе молча бросилась высокая худая собака с темными кругами вокруг белых глаз, собака с головой стерляди, собираясь не то обнюхать его, не то укусить. Володя отпрыгнул в сторону. С детства он испытывал не то что страх, но какое-то предубеждение против собак, оставшееся в нем с того дня, когда его, трехлетнего мальчика, облаяла соседкина болонка; ужас, испытанный им в тот день, на всю жизнь определил его отношение к собакам.

— Пшел! — крикнул Володя серому и, косясь через плечо, пересек двор по дуге, в центре которой оставался подозрительный пес.

Перед Володей было одноэтажное здание складского типа, с толстыми решетками на окнах и входом посередине. Из этого входа и рвался наружу лихой припев. Володя знал, что вход ведет в коридорчик, имеющий аршин восемь в длину и аршина два в ширину, что коридорчик упирается в дверь, за которой находится комната с окном, взятым в решетку. Здесь и должен был находиться Червень с приятелем.

В глубине коридорчика появилась и исчезла полоса света. Песня оборвалась.

«Вошли», — подумал Володя.

Уже почти стемнело.

Слева от входа стояла лопата. Вытянув вперед руку, Володя

побежал по темному коридорчику. Ладонь его коснулась толстого железного засова. Он потянул его к себе, дверь, удерживаемая тугой пружиной, приоткрылась, и Володя просунул голову внутрь.

Он увидел комнату более широкую, чем длинную; большой стол, оставлявший лишь узкие проходы у стен, заставленный бутылками и едой, человек пятнадцать мужчин и женщин, неподвижно, в полном молчании сидевших вокруг стола, Виктора Прокофьевича, стоявшего справа, у дверного косяка, и Грищенко, который стоял еще правее, опираясь на манлихер.

Еще не было произнесено ни слова, еще не было сделано ни одного движения. Но пальцы уже лежали на собачках. Слабый шорох, произведенный Володей, привел все в движение. Лавина рухнула. Из многих глоток вырвался пронзительный крик. Черная квасная бутылка описала почти видимую дугу и шлепнулась донышком о лоб Шестакова. Боднув воздух эспаньолкой, Виктор Прокофьевич рухнул на пол. Лампа-молния погасла. В грохоте опрокидываемых стульев, звоне посуды, топоте, рычании утонули чьи-то пистолетные выстрелы. Казалось, что в комнате топчется бешеный слон.

Все бросились к выходу.

Володя втянул голову в плечи и отпрянул в коридор. Дверь захлопнулась и сейчас же, нажатая кем-то изнутри, ударила его в лоб.

Он толкнул дверь обратно. Он сделал это инстинктивно. Если дверь откроется, бешеный слон растопчет его. Изнутри нажали на дверь сильнее. Володя хотел бежать, но он не мог оставить дверь. Он налег на нее всем корпусом, но дверь неумолимо — миллиметр за миллиметром — отодвигала его в коридор. Подошвы Володи медленно скользили по полу. Но его левая ладонь хранила какое-то важное воспоминание. Воспоминание о прикосновении к засову! Ладонь догадалась, что надо делать. Она стала искать в темноте. Ум в этом не участвовал. Рукой управлял страх. Нужно было закрыть дверь на задвижку, чтобы бежать.

Володя уперся плечом в засов. Ему показалось, что позвоночник его сейчас сожмется гармошкой. Но вдруг ноги его на секунду перестали скользить.

За дверью образовалась каша из людей и стульев, подхваченных потоком, стремившимся к выходу. Мешало тело Шестакова, упавшего у порога.

Нажим изнутри ослабел,— может быть, руки, давившие на дверь, были отняты на миг, чтобы нанести новый, еще более сильный удар. В этот миг засов вошел в скобу.

Теперь можно было бежать через пустынный двор, мчаться по Ставкам. Никто не будет гнаться за ним, кроме серой собаки.

Володя на цыпочках, стараясь не стучать ногами, побежал через двор, мимо сумасшедшего дерева, к подворотне. Серый пес шарахнулся от него. Володя чувствовал во всем теле необыкновенную легкость, будто с его плеча свалился весь флигель.

Только сердце стучало на весь двор.

В подворотне Володя остановился, затем так же, на цыпочках, словно боясь, что кто-нибудь увидит его, побежал обратно.

Он вспомнил: Виктор Прокофьевич, Грищенко.

11

Дверь гудела так, будто изнутри ее били тараном. Володе казалось, что при каждом ударе она выгибается наружу.

Володя выхватил свисток. Как только его рука ощутила этот символ власти и порядка, он успокоился.

Он засвистел. Он знал, что на выстрелы народ не прибежит, а на свисток прибежит. В те времена стрельба не была для одессита чем-то необычным, что могло бы его заинтересовать и заставить ускорить шаг. Но в звуке милицейского свистка заключалась магическая



сила, подчиняться которой одессит привык издавна.

Володя свистел, таран продолжал громыхать. Перегородка, отделявшая Володю от бандитов, трещала и грозила рассыпаться. Сейчас Володя уже вполне трезво оценил обстановку. Если дверь будет высажена, не спастись ни ему, ни Виктору Прокофьевичу, ни Грищенко. Во главе осажденных — Червень, а Червень не оставляет свидетелей.

— Не ломайте дверь! — крикнул Володя фальцетом.— Стрелять буду!

И вытащил из кармана кольт.

Но дверь продолжала сотрясаться от ударов.

Толстая кольтовская пуля с десяти шагов пробивает двухдюймовую доску. Володя поднял кольт.

— Стрелять буду! — крикнул он снова и, даже не успев полюбоваться собой, выстрелил в дверь два раза.

Наступила минута тишины, затем послышались три громких удара. Кусочки песчаника, отбитые от стены, брызнули Володе в лицо. Большая макитра на сучке с грохотом разлетелась на куски и осыпала осколками дворик. Осажденные отстреливались.

Володя выскочил из коридорчика и, став за угол, продолжал стрелять в дверь. К счастью, он вовремя вспомнил одно из изречений Червня: «Начав стрелять, не забудь остановиться». В обойме у него оставалось только два патрона.

Володя снова схватился за свисток. Осажденные же, начав стрелять, еще долго не могли остановиться, хотя среди них и находился сам Червень.

Пули летели через дворик. Во флигеле напротив со звоном сыпались стекла. Вдруг в шуме боя образовалась щель, сквозь которую прорвался новый звук. Володя быстро обернулся. Кто-то бежал через двор, работая на ходу затвором длинной берданки.

На бегущем была защитная гимнастерка, украшенная синими венгерскими бранденбурами, какие сейчас нашивают на пижамы, парусиновая буденовка старинного фасона, с высоким шпилем и двумя козырьками — сзади и спереди; на ногах — желтые ботинки на твердой, негнущейся коже. Незнакомец был так занят своей берданкой, в которой что-то не ладилось, что, подбежав к Володе, даже не поглядел на него, а продолжал громко лязгать затвором.

— Кто ты? — крикнул Володя.

— Продармеец,— ответил тот, не отрываясь от своего занятия.

— Сколько у тебя патронов?

— Один,— ответил продармеец, показывая длинный патрон с толстой свинцовой, спиленной на конце пулей, вроде тех, которыми стреляли в битве на реке Альме.

Володя быстро оценил огневую силу подкрепления.

— Стрелять не надо, стой здесь, щелкай затвором,— Володя сунул продармейцу свисток,— и свисти.

Продармеец стал по другую сторону входа и принялся щелкать и свистеть, свистеть и щелкать, как ему было приказано.

Между тем бандиты прекратили стрельбу и снова занялись высаживанием двери. Через несколько минут их усилия увенчались успехом. Крик торжества вырвался изнутри. Дверные петли соскочили. Дверь приоткрылась — теперь она держалась только на засове. Достаточно было немного отодвинуть ее в сторону, чтобы засов вышел из скобы, и путь был открыт. Но осажденные сгоряча продолжали бить в дверь, отгибая засов и постепенно расширяя проход.

Володя схватил одну из своих лимонок. «Дверь защитит Шестакова, но тех, кто выскочит в коридор, порвет на куски»,— пронеслось у него в голове.

Это была лимонка, выменянная когда-то на фотографический аппарат, заветная лимонка, на которой ему был знаком каждый бугорок, каждая царапина. Пришло-таки ей время взорваться! Он вырвал кольцо — сколько раз он представлял



себе это движение, которое каждая лимонка позволяет сделать только однажды,— и бросил продолговатую, бугристую, как еловая шишка, бомбу в коридорчик. Из коридора громыхнуло, дунуло ветром, дымом и пылью.

Дверь упала.

Было тихо. Внутри что-то звякнуло.

— Сдавайтесь! — крикнул Володя.— Иначе все будете перебиты!

Продармеец щелкнул затвором.

— Выходи безоружными, по команде, спиной вперед, каждый отдельно, поднять руки! Кто не подчинится — взорву! — крикнул Володя в темноту.

Сзади послышался топот. Кто-то бежал через дворик, размахивая фонарем. Светлый круг прыгал по булыжнику.

— Стой! Кто идет? — крикнул Володя.

Все нужные слова сами шли на язык.

Человек с фонарем молчал.

— Кто ты? — опять крикнул Володя.

— Я?

— Да, ты.

— Я житель,— уклончиво ответил незнакомец, испуганно разглядывая Володю.

Тот стоял, держа в поднятой руке вторую лимонку, как бокал. Человек с фонарем колебался. Его взгляд скользил по лимонке, наплечным ремням, обшитым кожей Володиным галифе. Все это были вещи неясные, неубедительные. Лимонка, наплечные ремни могли быть у кого угодно. Но свисток! Свисток мог быть только у представителя закона.

— Я председатель домкома,— сказал незнакомец, одобренный непрекращающимся свистом.

— Далеко отсюда телефон? — спросил его Володя.

— На переезде, пять минут ходу.

— Бегите на переезд, звоните в угрозыск дежурному по городу, без номера... повторите...

— ...угрозыск, дежурному по городу, без номера...

— ...чтобы выслал «летучку» и «скорую помощь»... повторите...

— ...«летучку» и «скорую помощь»...

— ...на Ставки. Куда ехать, объясните сами. Сумеете?

— Сумею.

— И чтобы позвонили Цин-ципе-ру. Запомните?

— Чтобы позвонили Цин-ци-перу.

Председатель домкома поставил фонарь на землю и побежал.

В глубине коридорчика о чем-то шептались. Володя стоял за углом стены, прислушиваясь. Вдруг дверь скрипнула под чьей-то ногой.

— Сдавайся! — крикнул Володя, замахнувшись лимонкой.

— Сдаемся! — послышалось изнутри.

Бандиты выходили по одному, затылками вперед, подняв руки. Вероятно, они ожидали увидеть во дворе большой отряд. Но, когда они убеждались в своей ошибке, было поздно ее исправлять. Они уже были испуганы и, стало быть, побеждены. Володя стоял с револьвером и бомбой, следя, чтобы никто не опустил рук. Продармеец обыскивал бандитов и ставил их в ряд, лицом к стене. Всего вышло девять человек — пять мужчин и четыре женщины. Червня среди них не было.

— Женщин ставь по краям,— распорядился Володя.

Когда с бандитами было покончено, он крикнул:

— Виктор Прокофьевич!

Но ответа не было.

В этот момент в коридорчике послышался шорох.

— Не лякайтесь, це я,— сказал знакомый голос.

По коридорчику пятился, подняв руки, Грищенко.

— Это щоб вы с переляку меня не шлепнули, товарищ начальник,— объяснил он, выбравшись во двор.

Одна штанина была у Грищенко оторвана до колена, и голая нога

торчала из нее, как протез. К рябой щеке прилип салатный лист, но в общем младший милиционер был цел и невредим.

— Вот здорово! Ты цел? — обрадовался Володя.— Что же ты там делал, внутри?

— Да ничóго. Як стали нашого Виктора Прокоповича топтать, я соби и подумав: «Пока спекут кнышы́, останешься без души», тай заховался пид стол, в затишок...

— Где Виктор Прокофьевич? — прервал его Володя мрачно.— Что с ним?

— А хиба ж я знаю? Що я, доктор?

— А где твой манлихер?

— Манлихер? — переспросил Грищенко и почесал за ухом.

12

В то время как Грищенко чесал за ухом, мушка его манлихера остановилась как раз на уровне груди Володи. Человек, целившийся в Володю из манлихера, лежал за порогом комнаты. Очнувшись от контузии, он пошарил вокруг себя. Его рука сначала нащупала чье-то холодное лицо, затем приклад. Он подтянул его к себе и засунул палец в дырку в нижней части магазина. Палец вошел в дырку на глубину одной гильзы. «Четыре патрона в магазине»,— подумал человек. Есть ли патрон в стволе? Щелкать затвором нельзя было — тот, кто стоял у входа, мог услышать и отскочить в сторону. Но ведь винтовка на предохранителе; стало быть, патрон в стволе есть. Человек в комнате тихо отвел предохранитель и приник щекой к прикладу.

Володя стоял в светлом квадрате выхода. Над головой его висела красная луна. Фонарь председателя домкома освещал его снизу колеблющимся светом. Человек переводил мушку манлихера с Володиной головы на грудь, с груди на голову.

— Грищенко,— говорил Володя взволнованно,— я приказываю тебе полезть за манлихером...

— Ну як же я туда полизу,— плаксиво отвечал Грищенко,— коли я чую, що там хтось чухаеться.

— Грищенко...

Но Володя не договорил.

— Получай свой манлихер! — раздался голос изнутри.

И манлихер Грищенко, выброшенный сильной рукой из коридора, загрохотал по булыжнику.

Грищенко прыгнул в сторону, как кенгуру.

Вслед за манлихером из коридорчика показалась долговязая фигура с поднятыми руками.

Грищенко поднял манлихер и держал его растерянно, как будто это была не винтовка, а дрючок.

— Обыщи,— сказал Володя Грищенко.

— Отскочь, не прикасайся,— сказал долговязый.— От меня винт получил — и меня же обыскивать хочет! На, обыскивай! — Он повернулся корпусом к председателю домкома, который только что вынырнул из темноты.

Председатель домкома, обнаружив неплохую технику кистевого механизма, стал проделывать волнообразные движения вдоль его тела. В этом, собственно, не было ничего удивительного, ибо одесситы последние годы только тем и занимались, что обыскивали друг друга.

Верзила поворачивался перед председателем домкома то спиной, то боком, как на примерке у портного. Тусклый свет фонаря падал иногда на его лицо, и чем пристальнее вглядывался в него Володя, тем больше убеждался, что эти твердые бронзовые скулы не имеют ничего общего с подробно описанной Федькой Быком толстомясой, банной мордой Сашки Червня. «Эта карточка мне знакома,— думал Володя, разглядывая бандита,— но из какого она альбома?» Верзила между тем повернулся к свету, и Володя понял, что он снова поймал Красавчика.

— Красавчик! — пролепетал Володя совершенно потрясенный,— Как ты сюда попал?

— Добрый вечер, гражданин начальник, еще раз! — Красавчик приложил руку к кепке.— Мы с вами сегодня, как нитка с иголкой: куда вы — туда я, куда я — туда вы.

Этой фразой было сказано очень много. Он давал понять, что признает неуместность при данных обстоятельствах всяких воспоминаний о старом знакомстве двух футболистов. Он не собирается извлекать из них какую-либо пользу для себя. Он понимает, что дружба дружбой, а служба службой. Он произнес эти слова тем полным достоинства, почтительно-фамильярным тоном, которым опытный арестованный всегда разговаривает со своим следователем. Но, не претендуя на поблажки по знакомству, он не собирался отказываться от того, на что имел право по закону.

— Прошу только, гражданин начальник,— сказал он тем же почтительно-фамильярным тоном,— отметить в протоколе этот манлихер. Дескать, вор-конокрад Красавчик, не имея мокрых дел и не желая их иметь...

Продолжая вертеться перед председателем домкома с поднятыми над головой руками, то втягивая, то выпячивая живот, услужливо подставляя еще не обысканные участки тела, он объяснял Володе, почему умный вор не пойдет на мокрое дело.

— Мокрые дела умному вору ни к чему,— говорил он.— За мокрые дела шлепают.

Председатель домкома между тем нащупал за пазухой Красавчика какой-то ремень и принялся его вытаскивать. За ремнем потянулся моток, оказавшийся уздечкой.

— Орудие производства,— объяснил Красавчик, смутившись.

— Манлихер я отмечу, поскольку факт имеет место,— сказал Володя.— Но ты скажи откровенно: как насчет побегов? Будешь еще бежать или нет?

Красавчик ударил себя в грудь:

— Побей меня гром, разве ж это был мой побег? Это ж был ихний побег. Берут меня из камеры и дают мне конвой — женщину-милиционера. Это же просто насмешка! Мы идем по улице, а я себе думаю: меня же люди видят, знакомые! Может, мне даже этой свободы особенно не хотелось...

Председатель домкома фыркнул.

— Ну, чем доказать? Вот могу дойти до этих ворот и обратно. Хотите?

Он сказал это так искренне и горячо, как может сказать только человек, взятый под стражу.

Много времени спустя Володя задумался над тем, что удержало руку Красавчика, когда он, целясь в него из манлихера, решал вопрос: убить или не убить. Только ли холодный расчет опытного уголовника? Не вспомнил ли Красавчик в эту минуту «Черное море», футбол? Не вспомнил ли он, увидев в светлом квадрате входа инсайта «Азовского моря», что сам был когда-то голкипером черноморцев и лежит сейчас на полу в темной воровской «малине»? И тогда, быть может, в нем проснулся добрый лев, не пожелавший убить ничего не подозревающего, беззащитного врага; быть может, он почувствовал обиду за себя, за свою скверную судьбу, понял, что смутное время кончилось и что надо делать окончательный выбор. Но если эти мысли и взволновали его, он постарался скрыть их. Лишь много лет спустя Володя узнал, о чем размышлял Красавчик в минуту, решившую судьбу обоих.

Бандиты стояли в ряд в причудливых позах, изогнув спины и упершись ладонями в стену. Потеряв свободу, они потеряли индивидуальность. Они казались одинаково серыми, покорными и почти неотличимыми друг от друга. У них онемели поднятые руки, чесались спины, и они ныли коровьими голосами.

— Гражданин начальник... разрешите опустить руки...

Нытье бандитов прервал грохот автомобиля, полным ходом въехав-

шего во двор. Это был курносенький грузовичок «Фиат» на твердых шинах, битком набитый людьми. Машина круто завернула, и начоперот с ходу копчиком упал на бандитов. За ним посыпались агенты, и менее чем в две секунды бандиты были обысканы с головы до ног.

— Городская работа, а? — подмигнул начальник оперативного отдела Володе, намекая на превосходство городского угрозыска над уездным.

Расшитая золотом кубанка начоперота, алая черкеска, окрыленная пришпиленным к спине башлыком, желтые сапоги с подколенными ремешками и маленьким раструбом вверху голенища, обритая со всех сторон бородка котлеткой, напудренное лицо, наконец бомба-фонарка особенно редкостного, неизвестного Володе образца — все это производило такое сильное впечатление, что всякому, кто видел этого человека, хотелось немедленно ему сдаться.

Еще через секунду бандиты, подгоняемые агентами, как овцы толкая друг друга, лезли в грузовик. Они рассаживались в нем, ворча друг на друга, зло пиная женщин и стараясь захватить лучшие места. Только что потеряв свободу, они хотели тем не менее с удобством ехать в грузовике. Утратив преимущества, которые дает человеку свобода, они сейчас же стали заботиться о мелких выгодах, которые могло дать им заключение. Когда бандиты уселись, начальник оперативного отдела, освещая путь фонариком, устремился в коридорчик. За ним двинулись агенты, целясь в темноту из револьверов. Первым вынесли Виктора Прокофьевича.

— Сажай, сажай его под стенку, не клади, чтобы юшка через голову не вытекла, — распоряжался начоперот.

Виктора Прокофьевича посадили под стенку, он тихо застонал. Седенькая эспаньолка его потемнела от крови, стекавшей по лицу.

— Кроме черепа, все в порядке, — сказал начоперот, ощупав опытной рукой раненого и с трудом отгибая его пальцы, все еще сжимавшие два нагана солдатского образца. — Вот пример доблести! — добавил он. — Без памяти, голова пробита, а наганов отдавать не хочет.

— Что с ним, как вы думаете? — спросил Володя в тревоге.

— Что я, доктор? — пожал плечами начоперот. — Думаю, добрая жменя стекла в черепе. Один кусок торчит из лба, как рог.

Рядом с Виктором Прокофьевичем положили еще двух: один был без памяти, другой мертв.

Начоперот осветил его лицо электрическим фонариком.

— Червень, — сказал он. — Наповал. — И, посмотрев на Володю с уважением, добавил: — Вам повезло. Поздравляю. — Приложив руку к груди, он отвесил Володе поклон. — Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним.

Затем он поднял кусок старого толя, валявшийся у водосточной трубы, и, стряхнув с него песок, накрыл лицо бандита. В это время во двор въехала машина «скорой помощи». За ней, гремя шестернями, вкатился штабной «берлиэ» на высоких колесах; его широкий, выпуклый радиатор, украшенный бронзой и эмалью, сверкал, словно осыпанная звездами, лентами и орденскими знаками грудь императора. В «берлиэ» сидел товарищ Цинципер.

Три пары автомобильных фар осветили необычную сцену: тела, вытянувшиеся на земле, кучу арестованных под дулами наведенных на них наганов, белый халат доктора, склонившегося над Виктором Прокофьевичем, и в центре — Володю, потного, измазанного, с упавшими на глаза волосами. Он все еще держал в вытянутых руках пистолет и бомбу как скипетр и державу.

— Володя! — крикнул товарищ Цинципер, соскакивая с машины. — Уездный розыск гордится тобой!

Он хотел пожать Володе руку, но, увидев пистолет и бомбу, бро-

сился к начопероту, по дороге едва не наступив на тело Червня. Близоруко поглядев на его поднятые колени и черную лужу, вытекшую из-под куска толя, товарищ Цинципер, непривычный к подобным картинам, заметно позеленел.

Володя разыскал взглядом Грищенко, который терся где-то в задних рядах.

— Грищенко, дай на минуточку твой манлихер,— сказал он.

Грищенко вышел вперед. Все великолепие его куда-то исчезло, он казался невзрачным, как сибирский кот, только что вытащенный из воды.

Взяв у Грищенко винтовку, Володя обратился к товарищу Цинциперу:

— Товарищ начальник, разрешите доложить: младший милиционер Грищенко арестован мной за измену долгу.

— Пожалуйста, пожалуйста, я не возражаю,— замахал руками товарищ Цинципер, с некоторой робостью взирая на своего неукротимого агента.

— Занимайте места согласно купленному билету,— изысканно вежливо обратился начоперот к Грищенко, сложив ладони лодочками и указывая ими в сторону грузовика, в котором уже сидели, понурившись, бандиты.

Грищенко пошел, сутулясь, к грузовику, и его спина, еще недавно такая бравая, сразу стала похожей на спину заключенного.

— Это все? Или еще не все? — начоперот выразительно покосился на председателя домкома.

— Пока все,— ответил Володя.

— Тогда поехали,— крикнул начоперот и, взмахнув полами черкески, взлетел на грузовик.

Володя подошел к Шестакову. Рядом с ним на коленях стоял врач. Белый бинт летал вокруг головы раненого. Из-под марли были видны только его глаза.

— Как раненый? — спросил Володя у врача.

— Рана не опасна, но месяц продержим,— ответил тот, ловко перебрасывая бинт из руки в руку.

— Подлечите его, пожалуйста, и от хронического катара,— сказал Володя.— И, когда он придет в себя, передайте ему от меня записочку.

Он вынул из кармана клочок бумаги — это был их план на сегодняшний день — и написал на обороте:

«Виктор Прокофьевич! Красавчик пойман. Червень убит. Грищенко я посадил. Завтра утром приду к вам в больницу. Володя».

Первой выехала на улицу «скорая помощь». За ней тронулась «летучка». Бандиты сидели на дне грузовика, агенты — на бортах. Двое лежали на крыльях, целясь из винтовок в Ставки́, притаившиеся в ночном мраке.

Долговязая фигура Красавчика раскачивалась над головами урканов. Красавчик стоял, широко расставив ноги, балансируя на ухабах и хватаясь иногда за голову Грищенко, сидевшего у его ног.

— Гражданин начальник, манлихер! Не забудьте манлихер! — кричал Красавчик Володе.

Тяжело переваливаясь, грузовик вполз в сводчатую подворотню.

— Манлихер! — прогремело из подворотни в последний раз.

На улице бандиты приободрились — в конце концов, то, что случилось с ними, было в порядке вещей — и затянули воровскую «дорожную». Ветер забросил в дворик ее бойкий напев и веселые слова:

Майдан несется полным ходом...

Последними выехали со двора товарищ Цинципер и Володя на «берлиэ». Худая серая собака со стерляжьей головой бросилась за машиной, чтобы укусить ее в заднее колесо, но раздумала и отбежала. Двор опустел. Только часовые стояли у дверей разгромленной «малины».

— Володя,— сказал товарищ Цинципер, закрывая рот ладонью от

встречного ветра,— я завтра же ставлю вопрос перед начальником губернского розыска, чтобы вас обоих — тебя и Шестакова — наградили именными золотыми часами с надписью: «За успешную борьбу с бандитизмом».

Они догнали «летучку». Клубы пыли окутали «берлиэ», и воровская частушка заглушила приятные речи, с которыми товарищ Цинципер обращался к своему агенту.

Едва Владимир Степанович Бойченко закончил чтение, едва члены клуба перенеслись мыслью из знойной Одессы в суровые Гагры, как несколько рук потянулось к увесистым золотым часам, лежавшим на тумбочке у изголовья кровати доктора. Все хорошо знали эти часы и безукоризненную точность их хода.

Самым проворным оказался юрисконсульт. Он схватил часы и нажал пружинку. Толстая крышка со звоном отскочила, и под ней, как в сейфе, оказалась другая, точно такая же крышка. Юрисконсульт поднес часы к керосиновой лампе и громко прочитал надпись, выгравированную на внутренней стороне крышки:

Владимиру Алексеевичу Патрикееву
за успешную борьбу с бандитизмом
от Одесского уездного уголовного розыска
25 августа 1920 года

На минуту все онемели от изумления.

— Позвольте! — закричал наконец юрисконсульт.— Вы нарушили условие, доктор! Вы должны были писать из собственной жизни. Значит, сыщик Володя не вы, Владимир Степанович, а вы, Владимир Алексеевич!

И он недоуменно повернулся к Патрикееву.

— Вы меня, кажется, разоблачили,— ответил тот, чуть-чуть смутившись.— Отпираться бесполезно. Володя — это я.

— И вы ездили на кобыле Кохановке? — спросил старик Пфайфер.

— И я ездил на кобыле Кохановке.

— И вы бросали лимонки?

— И я бросал лимонки.

— И вы поймали Красавчика?

— И я поймал Красавчика.

Члены клуба недоумевали. Все уже создали в своем воображении образ Володи, но это был образ доктора Бойченко. Теперь нужно было этот образ менять. Нужно было на место Бойченко ставить Патрикеева. Это было трудно. Трудно было поверить, что солидный, уверенный в себе Патрикеев был когда-то робким, застенчивым, смешным мальчиком — таким, каким он был описан в рассказе доктора.

— Как это на вас не похоже! — всплеснула руками Нечестивцева.— Вы — и эти степные трупы...

— Позвольте! — перебил ее юрисконсульт.— Однако я все-таки не понимаю: почему же часы у Владимира Степановича? При чем здесь доктор?

— Ну, это просто...— ответил Патрикеев, ухмыльнувшись не без лукавства.— Мы с ним старые приятели, и я давно подарил ему эти часы на память о юности, проведенной вместе.

— Сидели небось за одной партой?

— Нет, мы учились в разных учебных заведениях.

Юрисконсульт еще долго не мог успокоиться.

— Кто бы мог подумать,— говорил он, обращаясь к Пфайферу и Нечестивцевой,— что известный литератор десять лет назад был мелким агентом деревенского уголовного розыска...

Все согласились с тем, что подобные превращения возможны только в наши дни, и каждый привел несколько примеров быстрого роста людей в Советской стране. Оказалось, что доктор Нечестивцева была когда-то медицинской сестрой, а интендант Сдобнов — почтальоном; и даже сам Пфайфер, знаменитый хлебопек, до семнадцатого года все-

го-навсего управлял большой частной пекарней в Кременчуге. Только юрисконсульт Котик со смущением признал, что всегда был юрисконсультом и его отец тоже был юрисконсультом.

— Скажите,— спохватился вдруг Котик,— а куда девался ваш Красавчик?

— Красавчик попал, разумеется, в тюрьму, в допр,— ответил Патрикеев.— В те годы над воротами одесского дома предварительного заключения висела надпись, сочиненная его начальником, бывшим политкаторжанином, полжизни просидевшим в царских тюрьмах: «Допр не тюрьма, не грусти, входящий». Всякий, кто попадал в допр, мог стать человеком, если только хотел этого. Красавчик сидел года четыре и все четыре года работал и учился. Он вышел на волю довольно образованным молодым человеком, спокойным и скромным. То, что произошло с ним дальше, никого в наши дни не может удивить: он продолжал учиться и кончил вуз. Кстати, и я кончил все-таки вуз — филологический факультет бывшего Новороссийского университета. То были трудные годы для юношей, и многие из нас занимались не тем, чем надо. Советская власть помогла нам найти место в жизни. Она занялась нами, как только у нее немножко освободились руки. С одними она обошлась сурово, как с Красавчиком, с другими поласковее. Кто дождался этого времени, кто захотел, тот стал человеком... Теперь Красавчик,— продолжал Патрикеев,— редко вспоминает о своих степных похождениях, о «кукурузной армии», о том времени, когда он не выходил из дому без уздечки за пазухой. Теперь вы можете совершенно спокойно доверить ему пару лучших своих лошадей. Я не терял его из виду, и в конце концов мы подружились; каждый из нас считает себя очень обязанным другому: я — за то, что он не выстрелил в меня когда-то из манлихера, а он — за то, что я вовремя его посадил.

Патрикеев швырнул в камин чурбанчики, на которых сидел, и подошел к окну. Посередине гагринской бухты, прямо перед дворцом, возвышалась пирамида огня. Это был теплоход. Он был иллюминирован с такой пышностью, будто его рубильниками управляли огнепоклонники. Патрикеев распахнул балконную дверь. Непривычная тишина почти оглушила его. Прибоя не было. Молодой синеватый месяц мирно сиял в звездном небе, а под ним поперек спокойного моря тек к берегу светлый лунный ручей. С высокого берега свергались в море потоки талой воды. Было тепло, снег быстро таял. И, как бы извещая о первых глотках воды, вернувших жизнь гидростанции, в электрической лампочке над верандой порозовела и затрепетала тонкая нить.

Торжественный аккорд потряс воздух. Он был всеобъемлющ. Все тона сплелись в нем, и все звучало вместе с ним — горы, море, стекло в оконной раме. Он наполнял собой все. Он был так низок, что казался подземным. Это гудел теплоход.

— Товарищи,— крикнул Патрикеев,— шторм утих!

Но никто не обратил внимания на его слова. Все смотрели на доктора Бойченко. Тот сидел молча, опустив голову и приблизив лицо к огню, как будто немного обиженный тем, что не было сказано ни слова о литературных достоинствах его рассказа. Доктор молчал, и члены клуба продолжали смотреть на него немигающим, изумленным взглядом. Общее внимание смутило доктора. Он поднялся со стула, расправил широкие плечи, потянулся, и все увидели его долговязую фигуру, твердые бронзовые скулы и веселые глаза цвета ячменного пива.

Январь — апрель 1938 г

ББК 84Р7
К59

Текст печатается по изданию:
Нас водила молодость: Приключенческие повести.
Волгоград: Нижне-Волжское кн. изд-во, 1986

Художник *В. Черникин*

Козачинский А.

К59 Зеленый фургон: Повесть/Худож. В. Черникин.— М.: Современник, 1989.— 46 с.: ил.— (Отрочество. Серия книг для подростков).

ISBN 5-270-00494-1

Остросюжетная повесть о работе уголовного розыска на юге нашей страны в первые годы Советской власти.

К $\frac{4803010102-091}{М106(03)-89}$ 203—89

ББК 84Р7

ISBN 5—270—00494—1

КОЗАЧИНСКИЙ Александр Владимирович

ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН

Повесть

Редактор
И. А. КУРАМЖИНА

Художественный редактор
А. В. ДИАНОВ

Технический редактор
Н. В. ГАНИНА

Корректоры
Г. П. ПАНОВА, О. И. ОЩЕПКОВА

ИБ № 5310

Сдано в набор 27.07.88. Подписано к печати 17.02.89. Формат $70\times100^{1}/_{16}$. Гарнитура об. нов. Печать офсетная. Бумага офс. № 2 кн.-журн. Усл. печ. л. 3,9. Усл. краск.-отт. 7,96. Уч.-изд. л. 4,19. Тираж 1 000 000 экз. Заказ 2320. Цена 15 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР, 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.



15 коп.



ОТРОЧЕСТВО
СЕРИЯ КНИГ
ДЛЯ
ПОДРОСТКОВ

Александр Владимирович Козачинский (1903—1943) — русский советский писатель. Литературную деятельность начал в 1925 году в Москве в газете «Гудок». В этой газете тогда работали ставшие впоследствии знаменитыми писателями Илья Ильф, Евгений Петров, Валентин Катаев, Юрий Олеша. У них учился начинающий литератор меткому слову, мягкому юмору, умению мыслить образами и строить занимательный сюжет...

Повесть «Зеленый фургон» написана в 1938 году. Но и сегодня повесть читается с подлинным интересом. Живо и увлекательно она рассказывает об удивительном времени двадцатых годов, когда начальниками уездной милиции были восемнадцатилетние ребята. Не многолетний опыт, не профессиональная выучка помогают им одерживать победы над врагом, а решительность, отвага, вера в правоту революционных идеалов.

«Современник»